



## НАД КАБАНКОЙ ПОЮТ СОЛОВЬИ

*Татьяна Рыжкова (Конюшева) родилась в городе Пласте Челябинской области. Окончила Челябинский педагогический институт, Свердловский государственный университет, Челябинский государственный институт культуры (курсы «Основы литературного мастерства»). Работала учителем, методистом горно, директором школы, в настоящее время занимается частной логопедической практикой. Автор родовых книг «Вологодчина» и «Имя твоё – казак», нескольких повестей и книг для детей. Печаталась в литературных альманахах «Светунец», «Графоман», «Уральская линия». Дипломант Южно-Уральской литературной премии (2014), лауреат литературных премий им. Сергея Чекмарёва (2019), «Литера Артель» (2020). Живёт в Миассе.*

*Моим прадеду и прабабке – Бельтюковым Степану Петровичу и Дарье Петровне, а также всем оренбургским казакам посвящаю.*

### Глава 1

Дарья сидела на завалинке, привалившись спиной к нагретой солнцем стене дома и, высоко запрокинув голову, внимательно прислушивалась к улице. Не без удовольствия плотнее прижимаясь к стене, подумала: «Знойным выдался nonешний денёк. Вечер уж на подходе, а вона до сих пор как палит».

– Витька, опять цыплят гоняешь, пострел! Ох, и задам я тебе! – послышался сердитый голос снохи. – Сколь раз говорено: не гоняй!

На неподвижном лице Дарьи промелькнуло подобие улыбки: «Витька – младший внучок. Говорят, будто в мою, кашинскую, породу вышел. А и взглянуть бы

на него самой, определить, так ли. Да где там. Когда он народился, свет уж мерк в глазах. Только и различала людей, словно тени движутся».

Издалека донеслось громкое мычание и резкие, частые хлопki пастушьего кнута. «Вот и кормилицы домой поспешают, — её мысли текли неторопливо, спокойно, — наполнились за день молочком, торопятся опростаться. Травы в этом году, слава те Господи, говорят, уродились, хватает коровкам. Да и как по-иному, сколь уж дождей прошло-прогромыхало».

В лицо ударило горячей волной, пахнувшей пылью и парным молоком, и улица наполнилась нетерпеливой разноголосицей большого стада.

— Пашка, открывай ворота! — опять послышался голос снохи. — Да вицу-то возьми для овец. Не то опять прокараулите — пробегут мимо двора!

— Не пробегут! — уверенно заявил старший из внуков. — Мы их с Мишкой уже караулим.

Скоро во дворе заблеяли овцы и заполошно закудахтали потревоженные ими куры. «Не упустили, ну и ладно, — порадовалась за внуков Дарья. — Сколь себя помню, завсегда так было: из стада по дворам ребятишки скотину загоняют».

Звякнул подойник — это сноха Нюра пристраивалась к корове.

Дарья услышала, как тугие струйки со звоном ударяют о его стенки. Опять подумалось: «А сколь же мои руки вот так вот дёргали за дойки — не посчитать! Да и за чем? Дело-то обычное, бабье».

У ворот послышалось лёгкое шурушание. «Иван возвращается с работы, — догадалась Дарья. — Всё, как парень, на велосипеде ездит. А в наше-то время птицей пролетит по улице казак, словно слитый с конём, или ж наоборот, не торопясь, тихим шагом едет, спина прямая, грудь колесом, а счас вот велосипеды — смех один».

— Здорово, мать! — Иван присел около неё. Остро запахло молодым сеном и машинной мастерской. Сенокосной порой уже не первый год, как ставили Ивана на скирдовку стогов. Люди говаривали, что мастером он стал по этому делу: так стог вершил, что лучше и не надо! — День-то сегодня прямо пекло! Дышать нечем. А тут ещё, как на грех, стогомёт сломался — пришлось повозиться с ним: механики-то счас нарасхват.

— Я то и чую, шибает от тебя машиной-то. А пекло — ништо! Пуцай погрееет! Намёрзнетесь ишо зимушкой-то.

— Ты, смотрю, пригrelась у стенки.

— Дак моё дело стариковское: где тепло, там и хорошо.

— Может, в дом пойдёшь?

— Посижу маленько, а ты иди. Устал, поди? — Дарья до-тронулась до плеча сына. — Иди, ужинай.

— А ты?

— Успею.

Иван, помедлив, закурил. «Как отец, — подумала Дарья. — Тот, бывало, как присядет где передохнуть — тут же «козью ножку» в рот, а то и трубку. Не-сколько трубок было у Степана. Любил он их менять. Степан, Стёпушка. Ванька-то обличьем из всех сынов больше других похож на него. Весь Бельтюков. Только нрав в ём не отцовский. Стёпушка поспокойнее был, по-расудительней».

Докурив, сын поднялся:

— Ну, я пойду тогда. Позо-вёшь, как насидишься.

— Иди-иди, отдыхай! Я по-сижу. В доме, поди, уж душно сделалось, а здесь посвежее ско-ро будет — дышать полегче. По-сижу.

— Стёпка, — послышалось со-всем близко, — ты куда запропа-стился?

Это соседка Дуся звала сына — погодка их Пашки. Опять подумалось: «Пашку мои гла-зоньки ещё успели увидеть. И понянькаться с ним успела, и с Мишенькой — средним внуком — тоже чуток понянькалась».

— Стёпка! — опять раздалось громкое и сердитое. — Быстро домой!

Дарья повернулась на со-седкин голос, смахнула сухонь-кой ладонью что-то невидимое с лица, усмехнулась: «Стёпка. Лучше и не было для неё имени. А ведь жизнь у них могла сло-житься совсем по-иному, если бы не её, Дарьяна, отчаянная упря-мость. И как это она смогла тог-да так поперечить отцу? Самой до сих пор непонятно...»

Он гнал лошадь намётом, ни-чего не замечая вокруг. Гнал, не думая о том, что, возможно, уже опоздал, вернее, отказывался в это верить: «Как же так вы-шло-то, ведь обещалась. Прав-да, смехом, играючи, но ясно ж было, что согласна. И срок назначила с ответом: сразу, как отсеются. И что ж?» Мысли пу-тались, обрывались и ускользали так же стремительно, как несущиеся навстречу ещё сквозные берёзовые колки да чуть трону-тые зеленоватой дымкой придо-рожные заросли тальника. Приг-нувшись в седле, стиснув зубы, Степан летел навстречу своей судьбе.

Приехавший в полдень на пахоту младший брат Иван, вы-ставляя на дерюжку снедь, весе-ло сообщал последнюю новость:

Мимо кашинского двора как проезжал, видел, подкатил к ним тарантас. А рысак так и гарцует, так и гарцует на месте! Кра-сив, чертяка, и силён! Гляжу, а

в тарантасе-то двое казаков да баба из ненашенских. И все нарядные, как на праздник будто. А один, что моложавее, слышь, Стёпка, как раз тот, которого ты на скачках обошёл. Помнишь?

Степан остолбенел.

— Не попутал ты чего?

Да не, я его накрепко запомнил. Ох и злился он тогда! Так и стрелял зыркалами-то в твою сторону, так и стрелял во всё время после скачки.

А чего эт они во время пахоты в гости шастают? — вмешался в разговор отец. — Не время так-то?

— Дак соседка-то кашинская, бабка Плешивчиха, про сватов будто кричала. Я шибко-то не разобрал, к вам торопился.

Как было не помнить Степану того верзилу из Кособродской, что, видно по всему, не без умысла, не раз уж заговаривал с Дашей на общих станичных праздниках. Прошлой осенью на кадрили её зазвал и крутился во-круг ужом. Степан наблюдал издали, не смея мешать, но кровь сильно шибанула тогда в голову, а сердце зашлось от лютой ревности. Потому и вышел на скачках противу Кособродских, увидев того казака в команде. И похвалу от стариков, и первый приз взял заслуженно. Пусть видит Дарья, кто тут истый казак!

Не говоря больше ни слова, Степан мигом выпряг гнедого и, метнувшись на его хребтину,

поскакал в Кабанку. Влетев на широкую улицу, даже не подумал попридержать коня: так и гнал, пригнувшись к холке, словно на боевых манёврах, под удивлённые взгляды встречных, и опомнился, когда конь, дабы не врезаться в ворота кашинского дома, шарахнулся в сторону и поднялся на дыбы.

Вмиг оказавшись на подворье, он столкнулся с зарёванной Дуняшкой, младшей Дашиной сестрой.

— Стёпка, — испуганно замалахала та руками, — заполошный, уйди Христа ради! Не до тебя ей сейчас!

У Степана враз перехватило дыхание.

— Где она? — не узнавая своего голоса, только и мог выдавить.

— Воет на повети, что уж ей тепери, — звенящим от волнения голоском выговаривала Дуня.

— Воет? — опешил Степан. — А сваты где ж?

— Уехали уж, не солоно хлебавши.

— Почто? Да толком сказывай, не реви!

Разгорячённый мозг парня отказывался что-либо понимать.

— Дак отказала Дашутка! Натрез! Только жених фуражку-то вниз доньшком на стол поклат, она её в руки да на вешалку, а сама из горницы бегом. Ослушалась тятеньку. Вона бушует тепери, прямо страх как!

Степан, начиная чуть трезветь, услышал, как в доме что-то с грохотом валится на пол, и подвывания Настасьи Степановны вперемежку с громовыми раскатами Дашиного отца:

— В монастырь сошлю сучку! Так припозорить на всю станицу! Ить совсем совесть поистеряла: наперёд отца родного выскочила!

— Отец, да угомонись ты за ради Христа, — жалобно запричитала Настасья Степановна, — може, ишо и сладится как-то.

И тотчас осеклась и глухо охнула от увесистой мужниной оплеухи.

— Эт ты, потворщица, дозволяшь ей чего не след! Срамница, кобыла, выкормил себе на позор! Отец родной ей уж не указ! В прислуги отдам к войсковому атаману! Пуцай его детям сопли утирает, если своих рожать не хочет, халда!

Мать, тихонько всхлипывая, уже не пыталась заступаться за дочь. Степан рванул дверь.

— Эт ишо откель взялся?! — рявкнул на внезапно появившегося в дверях парня Пётр Николаевич. — Чего тебе?

Бельтюкова Стёпку, Дашиного годка, с которым та ещё недавно лепила из глины пирожки на берегу Кабанки, он и в мыслях не держал как партию для дочери.

Степан повалился ему в ноги:

— Отдай за меня Дашу, дядька Петро! Никто, кроме её, мне не нужон. Жить без неё не могу!

По щекам молодого казака текли слёзы.

— Дақ эт из-за тебя, штоль, она отказную выписала Василю? — сражённый догадкой и оттого вновь приходя в ярость, рыкнул отец. — Вона, как ларчик-то просто открывался! А я, старый дурень, уразуметь не мог, чем эт ей такой справный казак не угодил? — И, поверотясь к двери, продолжал греметь: — Дунька, где ты там? Зови сюда срамницу!

Степан поднялся с колен и, понури́в взор, стоял, ощущая противную дрожь в коленях да бешеные удары сердца в груди. «Господи, помоги, не оставь, Господи!» — только и шло на ум.

В сенях послышались быстрые шаги, и вслед за этим он почувствовал, как подле него остановилась Даша... Дашенька.

— Чего молчишь, сказывай, когда схомуталась со Стёпкой?! — не стеснял себя в выражениях Пётр Николаевич.

Даша выпрямилась, сразу став чуть не на голову выше стоявшего рядом Степана, и гневно взглянула на отца:

— За него пойду, и ни за кого более, хочь изруби на мелкие кусочки, хочь насмерть запори!

И, выдерживая бешеную ярость отцовского взгляда, не

отвела горящих глаз своих, не опустила долу. Мать и младшая сестра, ни живы ни мертвы, наблюдали за их поединком.

И то ли ощутив, что не в силах превозмочь непокорную твёрдость дочери, отчего на миг растерялся, то ли желая её наказать, но вдруг неожиданно для всех Пётр Николаевич словно пашкой наотмашь маханул:

— А и отдам за еного недоростка, штоб не срамила родителей, мерзавка!

Мать громко охнула из угла:

— Да ты что, отец, опамятавайся! Красавицу нашу за Стёпку?!

Но тот уже закусил удила:

— А ништо. Он шустрый — допрыгнет! А она всю жисть, штобы его углядеть, будет кланяться — вот спесь-то с неё и сойдёт!

И, посмотрев на молодого казака, пророкотал:

— Хошь Дашку — к вечеру штоб сваты были!

Как мчался Степан обратно, он не помнил: всё как в бреду, как во сне, как не с ним. Вдруг передумает горячий Дашин отец? Вдруг согласие дал не в уме, а в буйстве пребывая, а отойдёт и сыграет отходную...

Пётр Ильич поджидал у края пахоты, привычно ловко перенял взопревшего коня, молча ждал.

— Тятенька, домой надуть!

Скоро... сватов к Даше, — перехваченным голосом, без передыху, бухнул Степан. И пощеничьи затравленному взгляду, скользом брошенному на него, Пётр Ильич понял, что сын не в себе. А тот, отвернувшись на пахоту, повторял, как заведённый:

— Скоро, скоро надуть!

— А ну, охолонь-ка чуток! Не то тронутый будто. Чего взгородил-то сейчас?

— Тятенька!

Пётр Ильич с укоризной смотрел на сына:

— Так... Стало быть, попереж всех обычаев полез. А что ж той-то жених, аль не по нраву Кашиным пришёлся? Должно быть, со справной семьи казак, с достатком.

— Отказала ему Даша, не похотела за его.

— Как эт так отказала? Сама? А отец что ж?

— Люгует, чего ж ишо! — и, чувствуя изумлённое недоверие отца, с отчаянием добавил: — Люба она мне. Аж не знаю, как словами то выразить, люба!

— Да ты погоди с любовью-то своей! А что, как и тебе откажет? Она девка с норовом! Вишь ты, раз уж супротив отца не убоялась, сперечила.

— Не откажет она, верно знаю! Так отцу и сказала. Только поспешать надуть: кабы он не передумал, поостыв.

— Ну, коль так дело повертается, — отец уже веселее поглядывал на сына. — Правда, метил я тебя ишо годок необъезженным жеребчиком подержать, но уж коль припёрло — давай собирайся!

Скоро доехав до дома, Пётр Ильич с порога спросил, готова ли баня. Затем, не мешкая, распорядился Ивану седлать коня до атамана Уткина. На недоумённый взгляд супружницы ответил, что тот в сватовстве горазд и поможет, в случае чего, уломать Петра Николаевича.

— Да како сватовство-то? — пытала вконец потерявшаяся Ксения Алексеевна.

— А вона — Стёпкино припёрло враз! Доставай, мать, чекмень парадный, сам с имя сватать пойдю.

— Дак каво сватать-то?

— Кашинскую Дашку, — посмотрев на сына, поправился: — Дарью, стало быть. Пока опеть не увели.

И озорно подмигнул сыну. Тот, находясь в нервной горячке, по всему видно, соображал туго и подвоха отца не понял.

К Кашиным собрались уже в потёмках. Степан, торопивший родителя, не находил себе места, но Пётр Ильич, несмотря на заверения сына, что Даша согласна, решил подготовиться основательно, чтоб сраму не вышло, как

с первым женихом. Потому к выбору сватов подошёл с умом. Успели скатать в Кумляк за тамошним атаманом Иваном Гавриловичем Уткиным. Он приходился двоюродником братьям Бельтюковым и был давним приятелем Петра Николаевича Кашина. А сам Пётр Ильич отправился к Чупахиным, кровным родичам Кашиных: Любовь Николаевна Чупахина, в девичестве Кашина, доводилась родной тёткой Дарье по отцу. Выслушав его просьбу быть сватами Степана, она завозражала было:

— Как-то не по обычаю, Пётр Ильич. Мы же сродственники невесты и её ж сватать идём.

— На то и расчёт, что не откажет вам Петро, уж больно буйный он нынче и не совсем в себе. Слыхали, поди, что у них сотворилося.

Несмотря на начавшуюся пахоту, о том, что произошло у Кашиных, знала вся Кабанка. Но тут Петра Ильича поддержал хозяин дома Михаил Чупахин. Будучи в том же чине урядника, что и Дашин отец, он имел в его глазах вес и мог говорить на равных.

— А ить вправду, Николаевна, чего б не пойти? Помочь надо Степану. Росточком он маненько подкачал для Дарьи, а так — казак, нечего сказать! Словом, мал золотник, да дорог! Наряжайся, поможем парню и племяннице, коли так.

К дому Кашиных их сопро-  
вождала любопытная толпа. В  
горнице, уже прибранной после  
недавнего погрома, был накрыт  
стол — их ожидали, и это немно-  
го успокоило Степана. Прошли и  
чинно уселись под матицей, чем  
сразу определили цель прихода.  
Увидев сватов, Пётр Николаевич  
немало удивился, но быстро  
оценил находчивость Бельтюко-  
вых, подумал: «Вёрткий они на-  
родец, умеют мозгами раскинуть  
в нужную сторону». Но вынести  
второй раз за день полагающий-  
ся обряд сватовства был уже не  
в силах. Всё это повторённое,  
заученное, обязательное в таких  
случаях «у вас товар, у нас ку-  
пец» звучало для него горькой  
издёвкой. Потому, круша старинные  
обычаи, он, к немалому  
удивлению всех, начал первым:

— Знамо, зачем пожаловали,  
гостюшки. Был уж сегодня у  
меня просильщик за Дашку, —  
при этом он недобро зыркнул в  
сторону Степана. Щёки парня  
мгновенно запылали, а буду-  
щий тесть продолжал: — Мило-  
сти прошу к столу. Не взыщите,  
откушайте, что Бог послал.

Видя такой оборот дела, сва-  
ты не перечили и быстро рассе-  
лись за обильный стол. Но кру-  
тым кипятком клокотавшая обида  
на дочь прожигала Петра Нико-  
лаевича насквозь, не давая, как  
подобает в подобных случаях отцу  
невесты, пристойно, со степенным

достоинством держать себя. Уже  
поднимали первую чарку, когда  
тётка Люба, стараясь соблюсти  
хоть какой-то порядок, недо-  
вольно спросила:

— Невеста-то где? Пошто на  
погляд не выходит?

— А чего её глядеть? — отре-  
зал Пётр Николаевич. — Разгля-  
дел уж кто надо!

И опять нехорошо полоснул  
глазами в сторону Степана.

Перехватив его взгляд, под-  
нялся из-за стола Пётр Ильич:

— Ну, разглядел, не разгля-  
дел — эт их дело, молодое, а нас  
со сватами уважьте, пригласите  
свою королевишну.

Даша ожидала в соседней  
комнате. Услышав, не умедли-  
ла, вышла, поклонилась гостям  
и, чувствуя на себе тяжёлый от-  
цовский взгляд, высоко взметну-  
ла непокорную головку. Рослая,  
статная, с точёным, как у восточ-  
ной красавицы, лицом, она и с  
зарёванными глазами была хоро-  
ша! В комнате повисла тишина.  
Все невольно залюбовались не  
столько красотой, сколько врож-  
дённым гордым величием юной  
казачки, тем, что нельзя при-  
обрести или воспитать, а пере-  
данное по крови от далёких ба-  
бок-горянок, можно лишь иметь,  
чувствовать в себе и естествен-  
ным образом нести.

«Этого ишо не доставало!  
Бесстыжая, опять без отцова  
призыва выпрыгнула к этому



недоростку!» — внутри у Петра Николаевича всё так и ходило ходуном. Дерзкая выходка дочери хлестанула в самое сердце, туманя разум:

— Венчаться на Троицу!

— Дак как же на Троицу? — предложенное явно смутило отца жениха. Стараясь сдерживать себя, он мягко возразил:

— Не по обычаям будет, Пётр Николаевич. Может, как оно ведётся: жнивы возрастим, засыплем урожай в закрома, а по первому снежку — всем мирком да за свадебку?

— А чего ждать? — уязвлённое самолюбие Петра Николаевича искало выход. — Им же невтерпёж, у них же всё по-своему, наперекор отцу! Вот пусть, как похотела не по-людски, так и будет!

Хорошо зная крутой кашинский нор, понятно крякнул дружок Иван, и молча, дабы не накалять страсти, кивнул, соглашаясь, будущий сват.

Провожая гостей в тёмных сенях, Настасья Степановна, уже примирённая с неизбежным, шепнула свату:

— Не тревожься, Пётр Ильич, время ишо есть. А мой, сам знаешь, горяч, да отходчив — несусветицу по обиде несёт. Отойдёт малость — уломаем свадьбу по снежку сыграть. Чай не ворог он дочери своей.

Свадьбу играли на Крещение. Дарья помнила, что на улице всё так и трещало от мороза, а она ни за что не хотела кутать себя в овчинный тулуп, недостойный её свадебного наряда. К тому времени поостывший, но так до конца и не смиренный отец не утерпел, влез со своими советами:

— По старине, в косоклинном сарафане, на венчание баское было б, — не услыша ответа, съязвил: — Да без высокого венка штоб. Может, так-то женишок до невестинной подмышки и достанет.

Но дружно заершившаяся женская половина семьи во главе с тёткой Любой даже слушать о подобном не пожелала. У казачек, на городской манер, в моду только-только входили платья и парочки — юбка с приталенной кофтой навывпуск, потому твёрдо вознамерились нарядить свою красавицу по-новомодному, на удивление всем. За тяжёлым кремовым атласом с набивным рисунком не поленились скатать в дорогую Троицкую мануфактуру, и тётка Люба собственноручно сшила из него для племянницы подвенечный наряд: юбку, отделанную по подолу прошивками с кружевными оборками и такую же кофту с перламутровыми пуговицами по переду и пышными пыжами на рукавах. И к свадебным саням, украшенным

## Глава 2

лентами, застеленным пёстрыми домоткаными дорожками, шла Даша в новенькой мерлушковой шубке, крытой голубой китайской, опушённой по низу и вороту котиком — подарком свёкра со свекровью.

А после венца, под весёлый перезвон бубенцов и разудалое наяривание гармошки, мчались они по широкой поселковой улице, оба как в угарном тумане, и Степан, крепко обнимая, всё шептал и шептал на ухо: «Моя, моя!» И невозможно разобрать: то ли от быстрого бега коней, то ли от жаркого шёпота миленького кружит её прекрасную головку, украшенную кисейной фатой с белыми восковыми цветами, дурашливо выпущенной на волю младшим братом Данилой — поручителем с её стороны.

Свадьбу гуляли неделю. Пётр Ильич, будучи человеком покладистым, всё-таки держал малую обиду на Кашиных за смятое сватовство и решил не ударить лицом в грязь, показать всем и, в первую очередь, свату Петру, что не за последнего из казаков отдал тот дочь, не поспешил для своего первенца. Да и почётных гостей набралось немало: сам станичный атаман с супругой оказали честь и Бельтюковым, и Кашиным, приехали и гуляли.

Духота давила на грудь, заставляя трепыхаться сердце. Дарья с трудом ворочала с боку на бок ставшее неповоротливым высохшее тело, утирала платком потное лицо: «Не уснуть, видать, ноне. Одышливой стала, прямо беда». И вдруг усмехнулась, вспомнив: «А ведь похоже задышалась тогда в крепких объятиях Стёпушки, в первую их ночь, в нетопленном летнике, не чувствуя холода, лишь жаркие, нетерпеливые его губы. Да и одышливость та сладкой была... И после, почитай всю молодость, жаден он был до её тела. Оттого и дарила его детками, пока рожалось, каждые год-два. Пятнадцать ребятюшек выносило её лоно, а выжила лишь половина из них». Легко вздохнула: «Ну, что уж и горевать об том. Господь дал — Господь и забрал. Всё в руках Его...»

А приняли её Бельтюковы, нечего Бога гневить, по-доброму. И свёкор, и свекровь. Царствие им небесное за мудрую их доброту. Не лаяли, не корили молодуху за оплошности, посмеиваясь лишь. Да вот хоть бы и тот случай с пирогами. Могла б свекровь и снедовольствоваться, выговорить, и за дело, но не стала.

Это случилось в Пасхальную седмицу, сразу после праздни-

вания Воскресения Господня. Весна ранней птахой прилетела в том году и, не мешкая, растопила снег и лёд на Кабанке. Поэтому и рыбалка началась прежде обычного. Недалеко от берега, под нависшими над водой кустами, казаки закрепляли в воде морды — плетёные ловушки из ивняка — и на следующий день вытаскивали их, наполненные чебаком, окунем, щурятами, а повезёт, так и ельцом с линьком.

Прямо после Светлого дня Степан, с детства пристрастившийся к рыбалке, не утерпел, побывал на реке и привёз набитую рыбой морду. Вываливая отчаянно бьющее хвостами богатство в огромную лохань с водой, куражился перед молодой женой, зная, что она ещё только подсобляет на кухне:

— Принимай, жёнушка, первый улов да квашонку доставай, тесто затевай, пироги печи!

— Маленьких поешь!

— Не желаю маленьких — жениных хочу!

— А чего её доставать, квашонку-то, стоит уж и опарой пыхтит, — услыша шутейную перебранку молодых, вмешалась в разговор свекровь. — А вот пирогов и вправду Дарья напечёт. Пробуй, сношка, начинай с Богом!

Растерявшись, Даша сдержала:

— А что ж вы, маменька?

— Мы после службы к сватам званы, а вы со Степаном хозяйничайте. Попразднуем, а к вечеру — к нам на чай, пирогов отведать.

— Справимся, — видя Дашино замешательство, легко ответил за обоих Степан.

— Не торопись, рыба-то пущай в лохани поночует, — поняв намерение снохи тотчас бежать за ножом, науцала Ксения Алексеевна. — Завтра и очистишь, как в пирог заложить. Свежая-то она вкуснее будет.

Наутро Даша не могла дожидаться, когда свёкор со свекровью отправятся в церковь, и, лишь за ними закрылись ворота, кинулась к лохани с рыбой. По её просьбе Степан выбрал самых крупных линьков. Потроша их и складывая в глубокую глиняную мису, она подивилась их живучести:

— Смотри-ка, Стёп, выпотрошенные ведь, а хвостами до сих пор колотят. Чудно!

— Ещё сильнее заколотят, как в печь попадут! Кому такая жара по душе, — обнимая жену, шутил Степан, довольный тем, что остался, наконец, наедине с Дашей, Дашенькой...

— Не озоруй, Стёпка, не до тебя мне, — отбивалась она. — Лучше за огнём смотри. Может, ипо поленьев в печь подбросить?

Степан нехотя уступил. Даша ловко раскатала на столе тесто.

Умение было невелико и многожды опробовано ею в родительском доме. Смазав постным маслом огромный противень, переложила на него лепёшку, затем взялась за нож, чтобы порезать на куски рыбу.

— Ты что ж, рыбу режешь? — удивился Степан.

— А как прикажете?

— Да как маманя завсегда цельную кладёт.

Чуть помедлив, Даша аккуратно выложила на тесто целые рыбины, посолила, поперчила, затем густо обсыпала крупно нарезанным луком и полила маслом:

— Так, штоль?

— Вроде так.

— Тогда закрываем!

Она раскатала верх и, заципав пирог, отправила его на загнетку расстаиваться. Затем размела по сторонам дотлевающие в печи головешки, освобождая середину, и, взяв в руки широченную деревянную лопату, пыталась подсунуть её под противень.

— Давай помогу, не уронила штоб, — подсуетился Степан.

— Сам и уронишь, не мешай!

Напрягшись, она сунула пирог в жаркое нутро печи и, прикрыв заслонкой, с облегчением выдохнула.

— А ты и убоялась вся, — опять полез с объятиями нетерпеливый супруг. — Вона, как

ловко управилась! Печись, рыбка, и мала, и велика, а мы...

— Пусти! Ну! Нашёл время!

— А что его караулить-то? Пуцай печётся! В этом деле мы пирогу не помощники, — и, подхватив Дарью на руки, унёс за занавеску.

Скоро оба почуяли, как по избе поплыл ароматный дух. Довольная хозяйюшка, решив взглянуть на пирог, — всё ли ладно — приоткрыла заслонку и в следующую минуту запричитала-заревела белугой. Подбежавший Степан заглянул в печь, потом посмотрел на жену и, изо всех сил стараясь сдержать рвущийся наружу хохот, с повизгиванием и подхрюкиванием свалился на лавку: на противне и около него, измазанные в тесте, испуская аппетитный запах, валялись скрюченные линьки...

Остановить Дарью было невозможно. На её вой сбежались все, кто находился на другой половине дома или на подворье. Степан, впервые увидев ревущую навзрыд ненаглядную свою горячку, слегка растерялся и уговаривал жену, глядя по голове:

— Перестань, Даша! Будет тебе! Вот горяшко-то. Нашла из-за чего реки проливать. Рыбы полно, и квашонка не пуста — быстро другой пирог соберём.

Но та, уткнувшись в мужнино плечо и воя с причётами, не

слышала разумных речей Степана. Пока уговорили её всем семейством, печь простыла — пирога не испечёшь. А вскоре близко запела трёхрядка, ворота широко распахнулись, и хмельная толпа вплеснулась с улицы во двор.

— Милости прошу, гостеньки дорогие! — громче обычного пригласил Пётр Ильич. — Заходите, не откажите — уважьте хозяев!

Увидев, как разудалая компания вваливается в дом, Даша вновь затряслась от рыданий.

— Пирогам-то, пирогам как пахнет! — входя в кухню, весело приговаривала свекровь. — Ай да сношка у меня! Самовар ставьте к пирогам-то, — и осеклась, увидев растерянное лицо сына и отвернувшуюся к стене, вздрагивающую от рыданий невестку. — Да что стряслось-то?

Степан глазами показал на печь, и в следующую минуту, трясясь от смеха, свекровь громко сзывала гостей:

— Идите-ка, бабы, гляньте, каких пирогов моя сношка напекла!

Дольше выдержать Даша не могла. Кинувшись вон из избы, она выскочила за ворота и побежала к реке. «Утоплюсь от такого стыда! Господи, прости мою душу грешную!»

Степан настиг её у прибрежных кустов и, перехватив, развернул к себе:

— Ох, и прыткая ж ты у меня кобылка — едва догнал!

Увидев смеющиеся глаза мужа, она попыталась вырваться:

— Всё равно утоплюсь!

— И меня, такого пригожего, молодым вдовцом изделаешь? Не грешно тебе?

Заглушая вновь приступивший смех, отвернувшись, осторожно накинул на неё прихваченные из дома платок и лёгкую душегрейку.

— Стёпка, ты ещё изгаляешься?! Без тебя и так тошнее некуда, а ты?

Он быстро увлёк жену поглубже в кусты и, не разбирая, стал целовать в заплаканные глаза, солёные от слёз щёки, губы:

— Милушка моя, любушка ненаглядная, больше жизни люблю...

На речке они пробыли до сумерек, пережидая, когда разойдутся гости.

— Пора нам, милушка, — поднялся со старой ветчины Степан, — со скотиной управляться пора, не заругал бы тятенька.

Дарья обречённо поплелась за мужем: «Что уж тепери, будь что будет». Во дворе они столкнулись с Ксенией Алексеевной:

— А я уж было коров доить наладилась. На-ка, Даша, подойник, сама с имя управляйся, коль подошла.

Голос свекрови звучал спокойно, приветливо. Даша, не

поднимая глаз, схватила по-дойник и опрометью кинулась в стайку. «Слава те, Господи! Не сердита, кажись! А всё одно стыдно-то как. Аж сердце щемит, как стыдно!»

Разлив молоко по крынкам, она несмело вошла в кухню. Там уже было прибрано, басисто гудел закипающий самовар, и младшие дочери помогали матери собирать стол к ужину. Даша, не смея пройти, стояла в простенке, опустив голову. Све-кровь подошла, приобняла за плечи:

— Не тушуйся, Даша, с кем по первости не случается. Обу-чишься и с пирогами управлять-ся. Было б желание, а уменье придёт.

Судорожно всхлинув, Даша ещё ниже опустила голову.

— Успокойся, остынь. Да и я, старая дура, хороша: забыла ска-зать, что лён-то у рыбы, опреж того как в пирог её совать, пере-резать надобно. Вот и случился конфуз. Я, я в том повинна, ты уж не сердчай на меня.

Даша благодарно взглянула на свекровь:

— Я выучусь! Скоро! Поста-раюсь я!

— И славно! И Господь с то-бою! А я подсоблю.

Ксения Алексеевна легонько подтолкнула её к столу:

— Иди, помогай девкам!

И выучилась. Не в кашинском

характере было отступать! К тому времени, как появились в доме другие снохи, пекла Дарья и хлебы, и пироги с шаньгами на диво всем: пышные, лёгкие, как будто воздуха в них добав-ляла. С вечера, раздавая работы на следующий день, свёкор Пётр Ильич часто говаривал:

— Дарье квашню ставить, хле-бы печь.

### Глава 3

Дарья села на постели, свеси-ла ноги: «Нет совсем сна. Раз-бередила душу воспоминания-ми-то. Последнее время бывое часто напоминать о себе стало. К чему бы? А в груди тяжесть, словно под пуд легла». Она опу-стила ноги до пола, нащупала растоптанные чёсанки, привыч-но сунулась в них, затем сдёр-нула со спинки кровати старень-кую шаль, поднялась.

— Мать, ты куда? — из пе-редней комнаты сонно спросил Иван. — До уборной проводить?

— Спи! Дышать нечем. На крыльчке посижу — посвежее тамо. Всё одно не спится. Да сама, сама, чай не заблужусь в своём-то дому, — недовольно за-ворчала, учуяв, как спохватыва-ется сноха.

Двигая рукой по стене, опять подумала: «А и глупые ж, даром, что у самих ребятишков полон кузов! Невдомёк, что мне день

ли, ночь ли — всё теперь едино: мрак глухой, беспросветный. Ну да Бог с имя, неразумными». Добравшись до крыльца, осторожно опустилась на тёплую, не остывшую от дневного зноя ступеньку, прислушалась. С недалёкой Кабанки тянуло тинной свежестью. Освобождаясь от духоты, Дарья с удовольствием вдыхала знакомый с детства запах речки, чувствуя, как внутри зашевелилось что-то тёплое: «Сколь же связано с ней, родимой. В малолетстве любила играть с одноподками на берегу, лепить из песка калачики. Стёпушка тоже с ними играл, а как чуток подрос — застенялся, только издали следил, чтоб её калачики никто не ломал. А после уж с вечёрок тайно уводил сюда же слушать соловушек, что по-над берегом в густых кустах тальника тешили слух залихватными трелями, и, обжигая до самого нутра, всё шептал, что жизни за неё не пожалеет...»

И, словно отзываясь на её мысли, откуда-то издали слышались робкие пощёлкивания. Они то затихали, то вновь звонко и чисто неслись через ночь прямо к ней на крыльцо. Дарья напряглась, вслушиваясь в знакомые до боли переливы, подняла омягчённое лицо, тихо проговорила: «Заполошный какой-то, поздно уж, кажись, петь-то им». И продолжала уже не

вслух: «А ведь раньше-то целыми хорами у самых домов заходились по всей ноченьке. И тревожили сердце, не давая уснуть. Помнится, в первые годы после венца Стёпушка в такие вот ноченьки прям сатанел — сам не спал и ей не давал. После тех жарких утех к зиме новое дитя и нарождалось...»

Напротив, в небольшой сараюшке, вдруг громко заволновались куры. Успокаивая их, сердито клёкнул петух, шумно выдохнула разбуженная ими корова, и опять всё стихло. Почувя хозяйку, вылез из конуры пёс, гремя цепью, подошёл, улёгся у её ног. Дарья протянула руку, нащупала лохматую голову, легонько потрепала за ушами и доверительно тихонько заговорила: «Во как жить-то стали — всё в одном месте: и скотина, и птица, и собака у крыльца. Уборная — и та под носом. А раньше-то Бельтюковы как жили... Дом Петра Ильича в Кабанке одним из первых был! На высоком фундаменте из дикого камня, а сам из сосны. Да из дикого ж камня и лавка при нём. И скотину держали не у крыльца, как счас, а на заднем дворе в добротных стайках. Да для лошадей отдельная конюшня, да для телят и ягнят скотная изба, да пара поветей, на коих в зимнее время корма держали для скота, да амбар, да погребушка. У задней стены

дома — завозня для хранения телег, саней и всякого другого орудия для полевых работ. А по переднему-то двору только сами ходили, и от ворот до крыльца плоским камнем вымощенная дорожка. Мели двор каждую неделю и содержали в чистоте, опрятности. Да за скотным двором хороший пригляд был. Прибирались в стайках, не ленились, по навозу не хаживали». Что-то подобное улыбке промелькнуло на её застывшем лице: дорогими были для Дарьи те воспоминания. «А семья-то, семья-то была, Царица Небесная, аки табор цыганский! Быстро разрослась, как вошли в пору братья Степановы. Один за другим, после нашей со Стёпушкой свадьбы, привели в дом молодых жёнушек сначала Фёдор, затем Иван, позднее и Василий с Михаилом, выбрав из своих же, кабанских».

От реки уже нешуточно тянуло прохладой. В палисаднике тонко запахло мальвой и мышиным горошком. Дарья плотнее укуталась в шаль, подняла лицо: «Должно, светать начнёт вот-вот. Дождалась ещё одного денька. Слава те, Господи! Ниспосли нам, грешным, его тёплым и мирным, без горестей, для трудов праведных. Дождусь уж первых лучей, додумаю своё, тогда и поднимусь...»

Вскоре в глубине дома послышалось движение, и сноха Нюра,

сбивая с мысли, скрипучим ото сна голосом удивлённо спросила:

— Ты что ж, всю ночь так и присидела?

— А ночь-то летошна, что носок у комара. Заря с зарёй мало не сходятся. Не заметила, как она и пролетела.

— Ну, поднимайся, иди на кровать, полуночица. А я Красулю доить.

Проворно юркнув мимо све-крови, она сдёрнула с плетня подойник.

— Иван не поднялся?

— Рано ещё, пусть доспит. Вчера по жару-то намаялся. Может, и сегодня денёк такой же выдастся — опять достанется. Пусть поваляется ещё маленько.

«Жалеет, — поднимаясь, удоволенно подумала Дарья. — Так-то ничего живут промеж себя, уважительны друг к дружке».

Придерживаясь за стены, она дошла до кровати, нашарила подушку и переложила её повыше: «Может, так легче будет в груди. Жмёт и жмёт окаянную. А и выпить капелек каких ни то. Надо попросить у Нюры...»

Бельтюковы слыли казаками крепкими, держали две лавки — одну в Кабанке, другую в Увелке. Торговать взялся ещё отец Петра Ильича, участник усмирения польского восстания. Оттуда многие казачки вернулись не с пустыми руками. Вскоре после



возвращения домой Илья Никифорович и открыл небольшую лавочку, где торговал самым ходовым товаром: солью, сахаром, постным маслом да керосином. Вскоре лавочку разобрали и сложили каменную попросторней, прямо у дома, чтобы удобней было хранить и таскать товар из амбара. Отец мечтал развернуться широко, но, к большому его неудовольствию, старшие сыновья к этому «неказачьему» занятию так и не пристрастились, и только младший Пётр всё с большим интересом помогал отцу. После его смерти, уплатив братьям небольшую, положенную им от родителя долю, Пётр Ильич сделался полноправным обладателем лавки, а какое-то время спустя открыл скобяную лавку в Увелке и дом поднял просторный, на зависть многим. Словом, сильно отличаясь от родителя нерезким, уравновешенным нравом, перенял от него другое — коммерческую жилку, хозяином оказался толковым да рачительным.

Детки в его собственной семье, а затем и у сынов пошли густо. За столом собиралось без малого два десятка ртов. Дом перестроили, каждому сыну по горнице чтоб, а и без того просторный стол заменили на новый, куда больше прежнего. За таким столом место было каждому. Пётр Ильич строго следил

за тем, чтобы вечерами семья собиралась трапезничать в полном составе, и сердился, когда кто-то нарушал этот порядок.

Ребятишки и молодняк в зимнее время всем гуртом спали на просторных полатях, а летом, до самых холодов, уходили на сеновал. В горницах на кроватях оставались лишь взрослые да младенцы в люльках. Кровати были украшением горниц и особой гордостью снох, потому как их убранство составляло главную часть приданого казачки и готовилось ею в родительском доме не один год. С пышными, из гусяного пуха, перинами, высокой горкой пуховых же подушек, в будни они застилались пёстрыми стёгаными одеялами, а по праздникам — пикейными покрывалами с выглядывающей понизу саморучно связанной кружевной оборкой. И узоры у каждой были свои, одно загляденье!

Дарья, старшая из снох, пользовалась особым уважением свёкра. И не только за красоту, коей с избытком наделила её природа, но и за расторопность и смекалистость в делах. Ухватистой оказалась, сильной и крутой в любой работе: всё успевала и других подгоняла. Потому, когда завели вторую лавку, без опаски оставлял её Пётр Ильич сидеть в той, что в самой Кабанке, оставив здесь «лёгкий» товар:

бакалею, ситец, платки да всякую бабью ерунду вроде булавок с брошками. А скобяным товаром торговал сам в новой лавке в Увелке. Часто за делами там же и заночёвывал. А в пятницу непременно подкатывал к дому на рысаке, запряжённом в лёгкую коляску, с гостинцами для всей ребятни.

С поступлением в казаки сынов разрастался и клин земли. Теперь на полевые работы, подсобили чтоб, нанимали двух-трёх временных работников из отставных солдат.

Хорошо жили. С Богом в душе, с людьми в ладах, в казачьей службе усердны. Да в работе от зорьки до зорьки.

## Глава 4

По пути на работу Нюра подвернула к фельдшерскому пункту и попросила осмотреть свекровь.

— Совсем не спит последние дни и на удушье жалуется, — сообщила она фельдшернице, — за беги, как время будет.

Та тут же собралась:

— Сейчас и сбегаю, пока не выдернули куда-нибудь.

Она застала Дарью сидящей на кровати.

— Что это ты, Дарья Петровна, захандрила? Сроду не жаловалась на здоровье, а теперь что?

— Нюра у тебя была, — догадалась Дарья. — Так я её попросила капелек каких купить, чтоб не шибко трепыхало сердце-то. Вроде и не с чего, а ворохнётся вдруг и забьётся, словно птичка в клетке, да так, что и дышать нечем станет.

Фельдшерница пошарила в своём сундучке, что-то вынула и нацепила на Дарьину руку, сильно её пережав, после послушала в груди.

— Сколько тебе годков-то, Дарья Петровна? Не с моей ли свекровью ты ровня? Помнится, что-то рассказывала она, как вы вместе на войну к своим казачкам ездили.

Лицо Дарьи посветлело:

— Смотри-ка, что помнит Акимовна! Было, было дело. Молодые, дурные, не убоялись под пули ползть. Как она сама-то?

— Да вот как ты: жару тоже плохо переносит.

Поговорили ещё немного — так, ни о чём. Вложив в руку Дарьи пузырёк с лекарством, чтоб на ночь пила, фельдшерница пообещала навещать. Дарья прилегла на кровать, плотнее укутала ноги: леденеть стали последнее время, оттого и носила даже в жару старые, с обрезанными голенищами мягкие чёсанки. Усмехнулась, вспоминая: «Молодость — безрассудная, беспашашная, грешная. Как же она тосковала по Стёпушке,

как тогда испугалась за него, что не убоялась бросить на свёкра со свекровью свою кучу малу и через земли незнамые-неведомые птицей полететь к нему. А всё война-разлучница окаянная виновата. С неё-то и пошла вся жизнь под откос...»

Лето в четырнадцатом годе выдалось благодатным, тёплым. Вернувшиеся из лагерей казачки с удовольствием взялись за косы: травы после обильных дождей стояли густо, зелено. Откосились быстро, наверху стогов и принялись готовиться к недалёкой уже полевой страде. Стояла середина июля. А тут, как снег на голову, приказ самого Наказного атамана войска Сухомлинова о поголовной мобилизации строевых казаков и вызове на службу казаков со льготы: германец объявил России войну. На следующий день казаки с домочадцами собрались на площади, где прибывший из Троицка штабной офицер с непокрытой головой читал телеграмму императора Николая Александровича к оренбургским казакам:

«...Уверен, что оренбургские казаки будут на поле брани героями...»

Собирались по-деловому быстро. Кабанка вмиг обезлюдела. Лишь время от времени по улице проскакивал вестовой с очередным распоряжением уряднику,

да малой кучкой собирались у школы старики, судача о том, скоро ли удастся одолеть германца, вспоминали своё, славных отцов-командиров, что водили их в лихие атаки. А в домах и на подворьях у всех было одинаково суетно.

Из пяти братьев Бельтюковых дома оставались двое: Иван, не будучи служилым казаком, да по молодости лет ходивший в подготовительном разряде Михаил. Фёдора, прикомандированного к казачьей батарее, уже отправили к орудиям, с особой сотней ушёл и Василий. Степану выпало уходить на фронт в кавалерийском полку последним.

Уже в который раз заходил он в загон, где стоял сильный, молодой жеребец, — с ним завтра и уйдёт от родного порога, — подсыпал в торбу овса, гладил по атласной щеке, свыкаясь с тем, что в скором времени заменит ему Серко и дом, и всю родню. Отныне на него вся надежда, потому что известно: на хорошем коне — хорош и казак.

Улучив момент, зашла в загон мать. Незаметно покрестила коня, протянула хлеб с сахаром и под довольный хруст торопливо и горячо зашептала материнскую мольбу: «Спаси, родимый, когда нужно будет, сына. Вынеси к своим, ежели вражья пуля настигнет Стёпушку. Не дай сгинуть кровинушке моей незнамо

где...» И, забывшись, не отходила от коня, гладила, шептала ему в чуткое ухо, как самой близкой душе, будто мог он запомнить и исполнить все её просьбы, а после, обессилив, присела тут же, около, только коню и доверяя свои горькие слёзы, свою боль-кручинушку...

Пётр Ильич крепился. Не пристало старому казаку выказывать бабью слабость. И, хорошо понимая душевное нестроение жены, распорядился сам. Вроде бы уж всё приготовлено, а куда девать себя? Подозвав не по годам рослого старшего внука, приказал:

— Павлуха, давай-ка тащи сюда сбрую, поглядим ишо разок.

— Дак дедуль, вчерась ты и глядел, аль запомнил?

— Неси, стервец! Рассуждать он будет. Живей! Посмотрим, не запрела ли случаем кака малая уздечка или ишо чего стало не так. Може, чего и пропустили.

Но Павлухе было интересней ещё раз посмотреть на отцову шашку:

— Дедуль, давай шашку глянем, не затупилась ли.

— Не наше с тобой енто дело. Отцу надо, он и подправит.

Степан, услышав их перебранку, снял со стены шашку и вышел во двор:

— А и вправду повострить её будет не лишне.

Вынув из ножен клинок, он ловко завертел им, со свистом рассекая воздух.

— Тятенька, дай мне! — Павлуха весь светился от восторга.

— Подожди чуток, не заметишь, как и твоё времечко подскочит за шашечку браться. А покамест матери да деду помогай, не ленись. Вона, какой вымахал, мало-мало не догнал отца-то. — Он ласково потрепал сына по вихрам.

Из избы вкусно пахнуло подсыхающим хлебом.

— Ну вот, бабы сухари в печь поставили.

Пётр Ильич обернулся, долго смотрел на кухонное окно, потом глянул на сына:

— Эт уж последнее, чего надо было изделать... Да, вот ведь как всё повернулося...

Печаль, затаённая, сокрытая в самой глубине, не удержалась и предательски отчаянно плесканулась из его глаз, ясно давая почувствовать Степану, что знает старый вояка, с чем в скором времени предстоит ему встретиться там, в далёкой незнакомой земле... Что-то остро ворохнулось и горячо разлилось у него в груди, заставив смешаться дыхание. Вдруг вспомнилось, как в детстве, вперегонки с другими ребятами, мчался за околицу встреч возвращающимся верхами казакам и, подхваченный отцом, взлетал на коня, ощущая

спиной его жаркое тело, пахнувшее пылью, степью и конём...

— По всем дворам ноне так, — уточнил Павлуха. — Сухари прям мешками бабы сушат. А пошто? Чай, накормят в армии-то и без них.

— Соплив ещё рассуждать о том. Погоди, в свою пору поймаешь, как приятней лежать в каком ни то дозоре с сухариком за щекой. Слаще и нет тогда для казака ничего, потому как родным домом вкус его отзывается.

— Дак я ничё, дедуль, — оправдывался внук. Он ещё надеялся заполучить в руки отцову шашку.

— На, — Степан протянул сыну клинок, — аккуратно в ножны вкладывай да на место убери. А мать наша где?

— В дому, собирает тебе.

Степан застал Дарью в горнице. Склонившись над раскрытым сундуком, она вынимала и откладывала на крышку вязаные шерстяные носки с длинным паголенком, двухпалые варежки, пару исподнего белья. Какое-то время он тихо любовался женой, удовлетворенно думая о том, что детки не портят её: «Сколь уж нарожала, а всё, словно девка, стройна». И, обнаруживая себя, как мог веселее спросил:

— А варежки с носками почто отложила?

От неожиданности Дарья вздрогнула, подняла на мужа

затянутые влажной поволокой глаза:

— Дак кто ж его знает, Стёпушка, как дело-то повернётся. Скоро ли одолеете германца? Не дай Бог, затянется война-то.

Степан приобнял жену:

— Германец — мужик сурьезный, так просто не сдастся.

Он развернул Дарью к себе и, охватывая всю разом тем особым взглядом, коим только он и умел на неё глядеть, легко добавил:

— Постараться придётся!

И, увидев, как быстро сходятся у переносицы соболиные Дашины брови, поспешно сбалагурил:

— Прилетел гусь на Русь — погостит да улетит. А мы ему поможем, чем можем!

В эту последнюю перед оправкой ночь Кабанка угомонилась не скоро. Далеко за полночь в домах всё ещё светились окна, кое-где играла гармонь.

Затянулась вечеря и у Бельтюковых. Ксения Алексеевна молча уставляла и уставляла стол всем, что было в доме: шутка ли — за несколько дён третьего сына провожать. Пётр Ильич первым встал под образа и сам читал молитвы. Степан стоял позади отца, истово крестился, ощущая, как совсем иначе, чем прежде, отдаются в сердце знакомые с детства слова и как жарко и беспокойно становится

от них в груди: «...припадая к Твоей благодати, просим и молим Тя: всем, zde предстоящим и молящимся Тебе, помози во всех благих делах, начинаниях и намерениях. Яко от Тебе помощь приемлем, на Тя уповаем и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Понимал, что уста родных дружно молят сейчас за него...

За столом Пётр Ильич заговорил не сразу: молчал, борясь с нахлынувшей вдруг слабостью, не давая ей взять над собою верх. Не дай Бог слезой ли, голосом ли выказать перед семьёй то великое душевное смятение, что разрывало его изнутри. Наконец, собравшись с духом, он твёрдо взглянул на сидевшего рядом сына:

— Дай Бог тебе, Степан, быть здоровым и вернуться домой целым и невредимым. Служи, сын, верою и правдою Богу, Государю и нашей Россее-матушке. Служи справедливо, как мы, старики, служили. Если Бог ссудил тебе побывать в бою — будь героем, не позорь седых волос отца и своего казачьего звания. Ну, дай Бог всего хорошего.

— Дружи с товарищами, не покидай их в беде — и они тебя не покинут. А пуще всего береги своего боевого товарища — коня. Ещё в старину казаки говаривали: «Конь подо мной — Бог надо

мною!» — подал голос пришедший проводить Степана старый бобыль дед Ермола.

Когда поднялись из-за стола, Ксения Алексеевна шепнула Дарье:

— Приберём тут без тебя. Бери одеяло с подушками да отправляйтесь во двор на повесть. Ребятишков сама уложу и пригляжу.

Так тяжело и нескладно Степан не любил её никогда. После, откинувшись на душистом сене, виновато произнёс:

— Прости, милушка, вроде и не воевал ишо, а чего-то изнемог.

— Да Господь с тобой, Стёпушка! Чай, не в последний раз любимся, — она крепче прижалась к мужниной груди и, лаская, шептала и шептала, успокаивая и убаюкивая: — Устал, притомился, изнервничался весь. Всё у нас ишо будет, любимый мой. А счас отдыхай давай. Вона как сладко травушкой-то пахнет, голову так и кружит, так и кружит...

На следующий день пополудни состоялся напутственный молебен. Казаки, соблюдая старинный обычай, выезжали из ворот на конях при полном параде. Чуть отъехав от дома, Степан спешился, передал поводья Павлу и взял на руки младшую из трёх дочерей — полторагодовалую Дуняшку. Две других — девятилетняя Танюшка

и трёхлетняя Нюрочка — облепили отца с боков. Так и дошли до деревянной церкви, куда на большую площадь около неё уже стекалась вся Кабанка.

Казачки в ожидании церковного причта выстраивались в конный строй, чуть в стороне от них заняли почётное место старики. А по другую сторону площади замерли в ожидании нарядные казачки с детьми: несмотря на печальный сбор, старинный обычай предписывал им провожать казаков в лучших своих нарядах. И не слышно нигде ни весёлого разговора, ни смеха, но и слёз: не на парад идут родимые, а на ратное дело — на защиту Царя и Отечества, исполнять, как на роду им писано, свой долг.

Скоро над площадью раздался негромкий и чистый перебор колоколов, и тотчас прозвучала команда:

— Встать на молитву! Фуражки долой!

Казачки, спешившись, выравняли строй. Толпа заволновалась и замерла. Торжественно и слаженно разносилось по округе: «Верую, Господи, и исповедую, что Ты есть Христос, сын Бога живаго, пришедший в мир спасти грешных, из них же первый я. Тако ж верую, что по неизречённой милости Твоей Ты простишь прегрешения наши и гнев Твой праведный претворишь в милость. И Святой Вере нашей

Христовой не дашь погибнуть от козней Антихриста и возвеличишь Её по всей земле». И в неистовости поклонов, что земно клали и клали казачки, в торжественной сдержанности, с коей произносили слова «Веры» казачки, не было надрыва, а лишь достигшее ума и сердца, осознанное приятие неотвратимости постигшей их всех беды и упование на милость Божию в скором ратном деле.

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твоё, победы благоверным людям на сопротивление даруя и Твоё сохраняя крестом Твоим живительство», — слабеньким дребезжающим голосом тянул отец Иоанн, и, подхваченное многими голосами, звучало над площадью согласное:

Аминь!

В конце молебна, окропляя святой водой уходящих на войну казаков и коней, старый священник желал им:

Господи сил, с нами будь! Десницею Своею крепче булата соедини Всероссийское казачество! Пусть Тихий Дон и Яик, бурный Терек, Кубань многоводная, Астраханское и Оренбургское казачество в полном единении со всем русским народом, с мечом в руке, с крестом на груди, в едином могучем порыве сокрушит голову змею-диаволу и всем, кому русскому народу укажет высокий его жребий!

Как только отзвучали слова молитвы, поднялись с мест старики и просили казаков крепко и стойко защищать Государя и родную землю, быть единомышленными и делиться между собой всем необходимым, не оставлять в опасности товарищей и при первой возможности выводить и выносить раненых, а также защищать и оберегать начальствующих лиц. И их наказ слушали казаки с непокрытыми головами.

Прощание вышло скорым. Степан запретил провозжать его до сборного пункта. Перекрестился на икону Георгия Победоносца, что, благословляя его, вынесли во двор родители, по обычаю попросил у них прощения. Балагуря, обнял и расцеловал всех домочадцев и вскочил на коня. Дарья, как подобало жене, взялась за стремя, намереваясь проводить хоть до околицы, но Степан не захотел и этого. Наклонился, крепко, до боли, приник к её губам и, выпрямившись в седле, сухо произнёс:

— Бог даст — вернусь! Ребят береги!

С тем и пропал за воротами...

Началось ожидание с фронта вестей. Всё остальное отошло на задний план: работу работали, как и прежде, но больше машинально, по привычке. Без мужской силы с грехом пополам убрали урожай. От надрывной

работы прямо в поле скинула Дарья младенца на первом сроке. Оторвала от исподней рубахи лоскут, завернула в него маленькое тельце, всплакнула. Попросила Богородицу не оставить, укрыть его своим Святым покровом и, вспомнив их со Стёпушкой прощальную ночь, приняла таковые родины за промысел Божий. Поэтому как говаривали в народе: «Дитяtko что тесто: как замесил, так и вышло». Со свекровью сходили в церковь. Узнав их печаль, отец Иоанн, как мог, успокоил, сказав, что «всяк родится, да не всяк в люди годится», и посоветовал предать несчастного земле в могиле родственника. Вдвоём то и совершили, решив никого больше в случившееся не посвящать. Успокаивая сноху, Ксения Алексеевна рассудила по-своему:

— Век долог, Дашенька, всем полон. Будут у вас ишо со Степаном детки. Главное, чтоб домой вернулся с проклятущей ентю войны. А твои родины горьки, да забывчивы. Христос с тобою!

## Глава 5

Вести в Кабанку приходили с какой-то неизвестной Галиции. Старики толковали про Юго-Западный фронт. Каждое письмо, приходившее оттуда, читалось многожды и обсуждалось на разные лады. Казачки читали



и перечитывали поклоны, что непременно слались без малого всему посёлку, переживали, чем же кормятся родимые, когда по горам лазают за какими-то австрияками, радовались вопросам о себе и детях. Стариков беспокоило, хватает ли боевого припаса, фуража для коней, много ли убытка несут казачки да какковы же победы. Так и жили с похожими мыслями, святой верой, что пуля басурманская не настигнет, пролетит мимо кормильца, да с надеждой на скорое возвращение казаков домой.

Через год войны Бельтюковы проводили на фронт и Михаила. Скупые весточки от Степана приходили нечасто, а к весне и вовсе прекратились. Дарья подолгу простаивала у икон с сухими глазами. Так просил он сам — не оплакивать его раньше положенного. Всматриваясь в потемневшие образа, шептала слова молитв, а из сердца рвалось совсем иное: «Где ты, Стёпушка, любый мой, пошто не подашь о себе хоть малой весточки? Може, тебе помощь нужна моя? Ты только откликнись и позови...»

А на Пасху в семье случилась великая радость: вернулся домой Михаил. По тяжёлому ранению попал он в госпиталь и был списан в запасной состав. На другой день после встречи он неприметно кинул Дарье:

— Выдь-ка на малое время на задний двор.

Там и рассказал, как встретил Степана прямо на крыльце госпиталя:

— Нас, стало быть, заносят, я голову приподнял, штоб оглядеться, смотрю, Стёпка у двери. Чуть посторонился и не смотрит в мою сторону: не признать меня было в бинтах-то.

Дарья громко охнула.

— Да не пужайся ты! Его неглубоко зацепило в плечо. Когда я поступал, его уж выписывали. К своим он возвращался. Там же с ним подьесаул ихний лечился, так вот он Стёпку к себе денщиком хотел забрать.

— А куда ж прежний денщик девался?

— Убило его. А у нашего ранение-то в правое плечо было, оно хоть и лёгкое, но пашечкой много не намашешь, слаба рука-то стала. Так что вот такие вести привёз я тебе, сноха.

Окаменев, Дарья смотрела на Михаила.

— Да очнись ты! Радуйся, что так всё обошлось! Могло и похужее случится. В церковь сходи, свечку за его здравие поставь да Бога благодари, что живой остался.

А в скором времени пришло письмо и от самого Степана, где он сообщал, что стоят в обороне и что их сотня выполняет лёгкую службу по охране

да патрулированию недалеко от города Тарнополя. И заметались в голове у Дарьи шальные мысли. Поначалу гнала их прочь, но день ото дня они становились всё неотвязней, не давая сна по ночам: «Ехать надо, пока на отдыхе стоят. И медлить нельзя: не ровён час, опять в бой бросят. И что, и как сложиться может — одному Богу известно». Пошла с этим к своей задушевной подруге Катерине Спиридоновой. Муж её Василий вместе со Степаном уходил. Катерина поначалу и слушать не хотела:

— Да что ты, Даша? В такую даль да ить под пули!

— Не под пули. Говорено тебе, отвели их в запас. На охране они пока. Потому и надо спехом сбираться. Незнамо, долго ли так-то их продержат. Не опоздать бы.

— Ты так говоришь, будто уж решено у вас о поездке-то. А как не дадут согласия свёкор со свекровью?

— Уморилась я душой, Катя. Как узнала о его ранении — нет мне покоя. Так сорвалась и полетела б сизой голубицей к нему хоть на край света. Только б увидеть самой, что жив-здоров...

— Не знаю, подруженька, что и сказать на это. Вдвоём оно, конечно, не так страшно, но всё одно боязно. Уж так далеко, так далеко занесло соколиков наших...

— Думай, Катя, а я решилась!

Весь остаток дня Дарья металась по дому, не зная, с какого боку подступиться к старикам, с чего начать разговор. Смекнув, что со снохой творится что-то неладное, Ксения Алексеевна приступила к ней сама:

— Какая-то ты не в себе, Даша. Чего стряслося, выкладывай.

— А тятенька где?

— Где ж ему быть, в лавке, чай.

— Вместе вам сказывать буду.

Завидев входящего в горницу Пётра Ильича, повалилась ему в ноги:

— Видит Бог, как тяжело мне о том говорить, как свою ораву на вас оставлять, да только...

— погоди, — перебил её немало удивлённый свёкор, — пошто тебе детишков оставлять? Что ты такое удумала, Дарья?! Да встань, не пужай нас с матерью!

Дарья словно не слышала его:

— Перечить не стану, коль не отпустите.

И, решившись, подняла на них молящие упрямые глаза:

— Не держите на меня сердца, да только удумала я Стёпушку проведать, пока там у них затишь образовалось.

Старики онемели. Давно уж привыкли они к тому, что скоро и бойка сноха на поступки, но тут было совсем иное...

— Я тебя завсегда жалел и сейчас жалею, — нерешительно

начал было Пётр Ильич, но Дарья не дала ему договорить:

— Отпусти, тятенька, Христом тебя прошу. Может, помощь ему нужна. Михаил сказывал, мол, болит рана-то ишо.

— Да чем же ты ему помогаешь?

В горницу заглянули испуганные ребятишки:

— Мамадя, ты чего?

Дарья поднялась:

— К тятеньке вашему я собралась, вот дедуля с бабулей меня и благословляют!

Старики, ошарашенные проворством снохи, растерянно смотрели на неё, не находя нужных слов. Наконец Пётр Ильич, казалось, нащупал нужное и твёрдо заявил:

— Одну не пуцу, даже и не думай!

— Дак спиридоновская сноха тож собралась к Василию своему. Вместе и едем!

— Заполошные! Вот заполошные-то, — только и нашлась что сказать Ксения Алексеевна, сгруживая вокруг себя внучат.

Провожать их собралась почитай что вся Кабанка. Всем хотелось передать для своего хоть малый гостинец да на словах сказать, не забыть самое важное. Пришёл проводить дочь и Пётр Николаевич. Поначалу крепился, но не сдержался, укорил свата:

— Что ж вы не остановили-то

её? В таком пути что угодно может приключиться. Осиротим внучат — не простим себе.

— А ты попробуй, останови! Вроде как сам не ведаешь, каков у ней норов.

— То-то и оно, что ведаю, — невесело признался Пётр Николаевич. — И в девках-то удержу не знала, а теперь уж вовсе...

Как добирались через всю страну до Киева, потом до Винницы, а уж от неё на Тарнополь — и вспоминать было страшно. Но когда увидела Дарья сияющие Стёпушкины глаза, всё вмиг и забылось. Их сотня располагалась недалеко от города, в местечке с непонятным для русского названием Збараж, заселённом евреями и поляками. Здесь, в просторном доме у одинокой захудалой шляхтички, и квартировали несколько офицеров с денщиками.

Земляки-казаки, радуясь встрече, шутливо требовали:

— Магарыч с тебя, Бельтюков! Вона какая радость тебе подвалила!

— Проставлю, с меня не убудет, — легко соглашался Степан, веря и не веря, что Дарьюшка, живая, не во снах, стоит совсем близко, повернувши к нему своё писаное лицо, и смеётся вместе со всеми тихим призывным смехом.

А побыли вместе всего-то три ночи да два дня. Не обманывалась

Дарья, торопясь к любимому, что недолго им осталось тыловой жизни: полк возвращали в окопы. Подьесаул, у которого Степан теперь состоял в денщиках, попросил хозяйку, тщедушную, горделивую пани Ядвигу, найти им в доме какой-нибудь закут. Она долго «не понимала», о чём её просят, но, наткнувшись на гневливый взгляд гости, быстро поубавила спеси и указала на дом:

— Прощэ!

Затем саморучно принесла чистое бельё, поинтересовалась:

— Як ма пани на имя?

— Дарья она, — ответил за жену Степан и кивнул хозяйке: — Дженкуе.

Дарья так и покатилась со смеху:

— Ну, чистый басурман! А что ты ей сказал?

— Благодарствуйте и сказал.

В дверях хозяйка обернулась и, оценивающе оглядывая гостью, произнесла:

— Стэфан добры працое. Так так, добры мужжина!

Почему-то Дарья сразу всё поняла. Мгновенно вспыхнув, она резко повернулась к мужу и, не стесняясь хозяйки, спросила так, что та быстро исчезла за дверью:

— Эт откудава ей знать, что ты добрый мужжина?

Степан оторопело начал оправдываться:

— Дак подвозил ей воду несколько разов, потом упросил казачков чурбаны, что во дворе без дела валялись, на дровишки исколоть да худую крышу на дровянике залатать. По всему видать, хворая она, а живёт одна, что ж не помочь.

С тоской добавил:

— Наскучались мы по мирной-то работе.

И, уже оправившись от внезапной жениной атаки, едва сдерживал смех:

— А ты что подумала?

Дарья, ещё не совсем поверив, в упор смотрела на мужа:

— Стёпка!

Он не дал ей договорить угрозу, вихрем налетел и утащил за собою в сладкий угарный омут, где никого, кроме них, уже не было...

Прощанье вышло неожиданным и быстрым. Как-то разом всё вокруг пришло в движение, слышались крики, ржание коней и громкие приказы командиров: полк срочно снимался и уходил на передовую. И в этой взбаламученной войной людской круговерти для Дарьи места не было.

Степан в последний момент изловчился-таки, нанял им с Катериной первый подвернувшийся тарантас, обшарпанный, скрипучий, со старым евреем-возницей и таким же усталым от жизни меринном, передал кланяться

родным, обнять за него отца с матерью и деток, заторопился:

— Прости, Дарьюшка, дольше быть не могу.

Она не завывала, подобно подружке, не повисла на шее у мужа, а лишь улыбалась через великую силу: пусть Стёпушка запомнит её такой, чтоб легче было ему вспоминать там, в окопах. А потом шепнула на ушко то заветное, во что самой верилось и не верилось:

— Знать-то понесла я, любый мой. Чую, затяжелел снизу живот-то.

Как охранную грамоту выдала любимому...

## Глава 6

Солнце, добравшись до макушки лета, исходило белым жаром, а после коротких грохочущих ливней землю заволакивало душливым кольшущимся маревом, истаивающим только к вечеру. Но и тогда донимала парная томительная духота. Те капли, что оставила Дарье фельдшерница, помогали плохо. По ночам сердце то колочило замирало, то начинало биться, со звоном отдаваясь в ушах. Труднее всего бывало перед рассветом. Воздуха не хватало, и она с шумом втягивала его в себя, садилась на кровати, подкладывала под спину подушки. Чуть отпускаяло, и думы сызнова вводили её в прошлое.

«Помнится, Степан вернулся домой в семнадцатом годе почти уж по зиме. Думала, не дожждётся. Двое его братовьёв — Василий с Фёдором — сгнули на той проклятущей войне. К тому времени такое уж творилось по всей земле, что и не передать. Сначала по посёлку потёк слух о какой-то там революции в столице и будто бы добровольном отречении от престола царя-батюшки. Не понимали, как такое могло приключиться? Не верили поначалу. Думали, что дурные слухи, что всё образуется. Ан нет: в скором времени в станичную Увелку припожаловали какие-то комиссары из самого Оренбурга».

Кабанские казаки, в основном старики, собрались их послушать. Она тоже выпросилась со свёкром. Приезжие, по виду господа, бойко размахивая руками, говорили о наступившем равенстве для всех. Они же подтвердили, что нет больше на престоле царя, и громогласно объявили, что многовековое угнетение рухнуло и весь народ теперь свободен от цепей. На вопрос казаков, кто же заместо царя управлять станет, начали говорить о каком-то Временном правительстве. А потом непонятно, по-книжному добавили, будто вся полнота власти принадлежит теперь народу и все чины отменяются. Сбитые с толку казаки спросили о самом

главном — скоро ли войне конец. Помнится, как взвился один из приезжих, да так, что красными пятнами пошёл и запальчиво начал выкрикивать опять непонятное, мол, раньше война велась царём и его генералами, а теперь ведётся народом. И указал на людей: «То есть вами!» Свёкор в сердцах плюнул и потащил её к выходу. Сердит был, ажно страшно и глядеть на него. Молча гнал домой, не жалея лошади. На расспросы свекрови только и бросил:

— Дожили, мать, до справедливой власти. Она нам тепери с генералами ручкаться разрешила!

— Про войну-то что сказывали?

— По тому, как енти глотки за войну драли, не скоро сынов своих увидишь.

Вечером пришли её отец с матерью. Сидели за самоваром, обсуждали. Свёкор, так и не остывший после увиденного, горячился не на шутку:

— Нет, ты слухай, сват, казачки у них прямо спрашивают, мол, не про свободу сказывайте, а когда войну закончите, а оне, будто и не слышат, своё гнут: «Раньше вы за царя умирали, а ныне воюете за свободных себя. До победного конца».

— Так чем им царь в таком разе не угодил? Он вроде как тож до победы настроен был воевать!

— А пёс их разберёт! Сколькими оказались господа комиссары: говорили много, а толком понять никакой возможности. Так-то вот, — помолчав, горько усмехнулся. — Значится, тепери никаких благородиев нет, что рядовой казак, что офицер — все равны, честь и ту отдавать не требуется.

— Эт как же понимать? А кто ж приказы будет подавать, а кто их исполнять?

— То-то и оно, сват. Одно знаю: попали наши казачки в переплёт.

После ухода гостей Пётр Ильич неожиданно спросил сразу у всех:

— Как думаете, лавку, что в Увелке, с товаром продавать али вывести товар сюды в Кабанку?

Дарья тяжело вздохнула: «С того и началась рушиться жизнь...»

Осень семнадцатого года подходила к своему завершению. Теперь редкий день выпадал не морозным. Сверху, из померклой глухой пустоты, сыпала и сыпала холодная водяная пыль, вволю насытив собою поля, высветлив берёзовые колки и превратив дороги в сплошное непролазное месиво. Прояснило лишь в самый канун Покрова Богородицы, и в воздухе, уже подбитом остылым ветерком, несмело закружили первые снежинки.

По заведённому обычаю, в эту пору ложились рано. Быстро управлялись со скотиной и за ворота, на пропитанную зябкой сыростью и густою темнотою улицу без надобности не совались.

В один из таких промозглых вечеров возвратились домой кабанские казаки. О том, что они на подходе, в семьях уже знали, потому баньки и закуски держали наготове. Но радостной встречи у Бельтюковых не получилось. Иван с Михаилом и на голову переросший дядьёв Павлуха встретили Степана во дворе, помогли управиться с лошадыю. В дом он вошёл по-будничному, словно не было долгих трёх лет разлуки, вроде как и не обрадованный возвращению. Отстранил опередившую всех Дарью, не позволив дотронуться до себя, и на замешательство родных невесело отшутился:

— Погодьте малость, не то все мои вошки скоро вашими окажутся. Неси, Дарья, чистое бельё: перво-наперво банька мне нужна. Да захвати что надо, чтоб голову там же побрить, заразу в дом не натащить.

Дарья мигом собрала нужное. В предбаннике, помогая снять замызганное, пропахшее потом обмундирование, не удержалась, поцеловала в плечо, грудь и, увидев исхудавшее завшивленное тело Степана, с трудом удержалась, чтобы не

заголосить. Пряча от неё глаза, он заторопил:

— Наподдай парку да окати для начала горячим щёлоком!

Из бани они возвратились нескоро. Младшие ребяташки, утомлённые ожиданием, сонно моргали поочередно, то и дело спрашивая, скоро ли маманька придёт.

Увидев лысого незнакомца в одном исподнем белье, боязливо прижалась к бабушке Дунышка, и, словно что-то учуяв, громко завозился годовалый Саша. Степан подошёл к зыбке, вынул сына, ткнулся лицом в его мягкий живот и замер, с наслаждением втягивая в себя сладкий молочный запах маленького тельца. Подумал: «Бог не без милости — довёл до родного порога». И, не выпуская из рук орущего малыша, повернулся к остальным детям:

— Ну, идите к тятеньке, теперь можно. Она как меня отмыли, ажно светюсь весь!

— Эт от возвращения домой светишься-то, — улыбалась сыну Ксения Алексеевна, — дозвольть-ка сначала я тебя обниму.

А припав к сыновней груди, не удержалась, горько завсхлипывала:

— Не встречать мне более так-то вот братовьёв твоих, Стёпушка.

— Ну, будет-будет, мать! — мягко прервал её Пётр Ильич. —

Негоже заливать слезами нынешнюю радость. Давай, потчевай казака с дороги, — и понимающе взглянул на Степана. — Накучался, поди, по домашней-то стряпне?

— Да уж так-то оно так. Последнее полгода харч совсем никудышный был.

Но ужин получился быстрым. Ксения Алексеевна взялась подставлять сыну тарелки, но Степан, чуть дотронувшись до еды, отпросился спать:

— Завтра обо всём наговоримся, а счас скорее б до подушки. Вы уж не сердчайте. Завершительный перегон без передыху шли, по бездорожью нынешнему, притомились.

Он проспал весь следующий день до вечера. Ксения Алексеевна строго-настрого запретила внукам забегать в горницу, но удержать их было невозможно. Они на носочках подходили к кровати и, задерживая дыхание, смотрели на спящего.

— Танюшка, а он дышит? Кажись, что нет, — шёпотом спрашивала у старшей сестры семилетняя Нюра.

— Тише ты! Разбудишь тятенку.

— Не тятенка он, — уверенно заявила маленькая Дуняшка.

— Как эт не тятенка? Тятенка и есть, только исхудавший совсем.

— Не, я на карточке тятенку видала. Ентот не такой.

— Он на войну уходил, ты кроха была, потому и не помнишь. А я помню, как он тебя на руках до церкви нёс, когда прощались.

Степан открыл глаза:

— Эт какой же я не такой?

Девчонки с визгом прыснули из горницы, и только старшая осталась стоять на месте. Отец ласково посмотрел на дочь:

— Выросла-то как, Танюшка! Скоро уж женихи заглядываться начнут!

Танюшкины щёки вмиг запылали:

— Шибко они мне нужны!

«Как похожа на меня, — тепло подумал Степан, — моя дочерь, Бельтюкова. Помнится, в молодости так же конфузился и загорался от каждого неудобства. И глазами словно моими на меня смотрит — чудно! А вот что за словом в карман не лезет, быстра с ответом — это в Дарью».

— Ты насовсем пришёл? Не уйдёшь опять на войну? — смущаясь от пристального отцова взгляда, спросила Танюшка.

— Не хотелось б больше. Мать-то где?

— Тут я, Стёпушка. Поднимайся, гости уж на подходе, — принаряженная Дарья не скрывала своей радости. — Всё уж твоё наготовила: и лапшу с куриными потрошками, и пирог рыбный, и солёных груздочков из погребца достали. Нонешний



засол. Меленькие, на один зубок, хрустящие, с укропчиком!

Степан смотрел в её лучистые помолодевшие глаза, слушал то ропливый перебор слов и впервые за много дней не ощущал в себе той гнетущей внутренней смятенности, что становилась уже привычной. Он засмеялся:

— А помнишь первые-то свои пироги?

— Ну тебя! — отмахнулась Дарья. — Поднимайся! Вона мои уж на крыльце.

Кашины пришли всем семейством.

— С радостью и вас, и нас! — загремел с порога Пётр Николаевич. — С возвращением благополучным, зятёк! — и, крестясь на иконы, от души добавил: — Слава те, Господи, что не оставил внуков сиротами.

За столом почти сразу заговорили о главном.

— Степан, что слышно в армии про новую-то власть? Не многовато будет революций ентых: две за один лишь год? Да казаки-то что? За каку власть готовы зацепиться?

Степан ответил не сразу, и было видно, что расспросы ему в тягость.

— Большевиками себя кличут те, что ныне у власти. Видали мы ихних агитаторов. Ребята хваткие, умеют разговор вести так, что в сердце язвит. И всё как будто за народ.

— Да ты сказывай, сказывай!

— Войну, мол, надо заканчивать, со всеми замиряться. На што она нам, простым людям. Мол, трудно дома без мужичьих рук. У них призывы такие: «Мир народам, землю крестьянам, фабрики рабочим».

— А про казаков что говорят, что нам обещают?

— Трудовому казачеству вроде как земли оставляют.

— Вот эт правильно, справедливо.

— Ну, а кто ж имя командует?

— Говорят, главные у них — Советы. Им и власть вроде бы вся.

— Слыхали про Советы. Их ишо по весне izdelали по станицам.

— А всё ж любопытно нам, кто ж у ентых большевиков, ну, скажем, старший по чину? Фамилья имеется?

— Ленин какой-то.

— Вроде бы да как бы, — Пётр Ильич пристально взглянул на сына, — что-то ты темнишь, Степан, чего-то не договариваешь.

— Тут разобраться ишо надо. Уж больно многое чего сулят — и сразу. Може статья, что гладко застелют, да жёстко будет спать. А уж как с немчурой пошли брататься... Лучше б о том и не знать!

Степан поднялся, достал кiset, отошёл к печи. В комнате

повисла нехорошая тишина. Все молча наблюдали, как он сворачивал «козью ножку» и, открыв вьюшку, пустил в неё струйку дыма.

— А что ж казачки-то? Неужто братались с нехристями? — Пётр Николаевич отказывался в это верить.

— Сам, слава те Господи, не видал того позора, но знаю точно, что многие слухали тех агитаторов внимательно и дружбу с имя завели.

— И из наших таких есть?

Степан помедлил, тяжело взглянул на тестя:

— Есть! А кто, сами скоро узнаете. Эти хорониться не станут.

И чтобы дальше не продолжать разговор, попросил:

— Запевайте, бабы, какую ни то нашу, казачью!

Подумал: «Как-то ещё запоём при такой-то власти...»

Гостей провожали за полночь. Пётр Ильич нарочно вышел во двор сам, чтобы наедине, без посторонних ушей, договорить с сыном. Чувал, что не всё тот высказал за столом. Степан начал первым:

— В сотнях неспокойно. Большевики многое сулят, но только при этом всё время толкуют о трудовом казачестве.

— А мы кто ж по-твоему? Трудовое и есть.

— Да нет. Нас с тобой в другие

казаки определили, в зажиточные, потому как лавка своя да в страдную пору на нас наёмные работают. По-ихнему, батрачат.

— Так что с того? У многих так-то.

— А и то, что по законам новой власти мы угнетатели простых казаков.

— Да кого ж эт я угнетал? — Пётр Ильич уже не мог говорить спокойно. — Я сам хрип с утра до вечера гну, и семья моя вся, а наёмные в сезон — так за деньги ж, не просто так! И скупердяем никто меня не назовёт, привесок завсегда дам! Кто на меня хоть раз в обиде был, вспомнишь?

— Не шуми шибко-то, — Степан слегка приобнял отца, — поживём, посмотрим. Может, зря я страху нагнал. Погодить надо.

## Глава 7

С возвращением казаков тихая Кабанка заметно оживилась. Стало обыкновением приходиться по вечерам в избучитальню, устроенную в прирубке школы, и до хрипоты, порой до обид обсуждать новости, те, что приносили из станицы нечастые теперь вестовые, или те, что добывали сами, выезжая из посёлка по своей нужде. Любую из них встречали с обострённым интересом, судили и пересуживали не по разу и, как истые знатоки, сореживались меж собой в пред-

положениях, что может быть дальше.

Первым делом оценили нового войскового атамана. Нашлись казаки, кто знавал или видел в деле Дутова лично. Устраивало, что он хорошо показал себя на фронте, но его решительный призыв примкнуть к Совету Союза казачьих войск, созданному им для борьбы с большевиками, вызывал у многих недовольство. Правда, чаще пока скрытое. Отмытые от окопной грязи и угретые жёнами на мягких перинах фронтовики отходили душой, заново привыкая к мирной жизни, и не желали вновь садиться в боевое седло.

А жизнь, не спрашивая их, круто менялась прямо на глазах так, что поспеть за переменами было непросто. Россию стало не узнать. Над её широкими просторами носилась великая замятня, конца которой не видел и не знал никто, и она диктовала новые правила, отодвигая на задворки понятные и привычные времена жёсткого подчинения. И к этим правилам казачки примеривались по-разному: кто с осторожностью и опаской, а кто с плохо скрываемым интересом. Но глубоко сидевшая в каждом из них потребность жить заведённым порядком заставляла вновь и вновь собираться вместе, обговаривать долетавшие из Оренбурга, Троицка и других

городов слухи о неясной там борьбе, арестах и чего-то тревожно ожидать.

Наконец по первопутку вестовые доставили приказ станичного атамана Андрея Фёдоровича Кузнецова: прислать в Кособродку выборных казаков из служилых и стариков на общий сход. Кабанские собрались дружно. Многие, услышав о приказе, запосматривали веселее: коль приказ от атамана — значит, в станичной власти ничего не изменилось. Так-то оно спокойнее.

По старой доброй привычке казаки ожидали от начальства разъяснений по войску и указаний по службе, но сход неожиданно для всех пошёл вразрез с обычаями. Внимание быстро оттянули на себя чужие люди в штатском, перепоясанные ремнями с кобурой.

— Казаки, я говорю перед вами от имени Советской власти, — выходя вперёд, громко начал один из них.

Его тут же недовольно перебили:

— Да ты сам-то кто таков?

— Вроде не из наших!

— Верно, не из ваших, потому моя фамилия вам ни о чём не скажет. Если коротко и в самую точку, я член Военно-революционного комитета от партии большевиков по Оренбургской губернии. Как принято сейчас говорить, военный комиссар.

Казаки задвигались.

— Что за комитет? То Советы, то комитеты, что ни день, то новый плетень!

Но комиссар, не обращая внимания на выкрики, лишь прибавил в голосе:

— Товарищи казаки, я подвергаю себя большой опасности, выступая сейчас перед вами. Вы наверняка слышали, что в Оренбурге атаманом Дутовым арестованы большевистские руководители. Но нам с помощью революционно настроенных рабочих удалось бежать. Бежать, но не прекратить борьбу!

Со всех сторон раздались выкрики:

— Прыткие, значит!

— Заарестовать их да перенести куды следует — и делу конец!

Лицо комиссара мгновенно отвердело. Сделав ещё шаг навстречу казакам, он спокойно и жёстко заверил:

— Арестовать нас вы всегда успеете, что мы против такой-то силищи? Раньше послушайте, что скажу.

— Пусть говорит! А и любопытно, что сообщать будет. Да-ром, штоль, приехал!

Комиссар среагировал мгновенно:

— Спасибо, казаки! Я обращаюсь в первую очередь к фронтовикам. Думаю, те, кто недавно возвратился домой, слышали о

декретах, но я ещё раз хочу напомнить, что на следующий же день, как в Петрограде большевики взяли власть, состоялся Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На нём руководитель партии большевиков товарищ Ленин провозгласил Декрет о мире и Декрет о земле.

Опять раздались выкрики:

— О мире понятно — замиряемся со всеми, и войне конец. Ты потолковее о втором расскажи. С землицей нашей что будет? Не оттяпает новая-то власть? Ходят слухи, кой-где мужичьё всерьёз уж зарится на наши земли.

— Не беспокойтесь, товарищи казаки, никто вашей земли не тронет! — рука комиссара резко рубанула по воздуху. Уловив лёгкое замешательство казаков, он твёрдо добавил: — Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются! Так и написано в Декрете о земле.

Затем быстро поднял над головой какую-то казённую бумагу:

— Это постановление Совета Народных Комиссаров.

— Что эт за народные комиссары?

— Так теперь называется наше трудовое правительство, созданное на съезде, о котором я вам только что говорил. Так вот, — он ещё выше поднял руку с зажатым в ней листком, — это

постановление только что получено нами из Петрограда. В нём говорится, что Советская власть хочет освободить казачество от кабалы атаманов и призывает вас объединяться в Советы трудового казачества.

— Да что ж тут нового? Керенский со своими министрами тож призывали к созданию Советов, да и атаман Дутов. Ты по делу высказывайся, что ваш Ленин про землю ишо заявляет?

— Товарищ Ленин говорит, что правительство ставит своей ближайшей целью разрешение земельного вопроса в казачьих областях в интересах трудового казачества и всех трудящихся, на основе советской программы, принимая во внимание все местные условия, в согласии с голосом трудового казачества на местах.

Какое-то время казаки старались переварить услышанное, но быстро оставили эту затею:

— Ну и наворотил!

— Чего его разрешать-то, ентот вопрос? Он давно уж разрешён. Землицы, слава Богу, хватает. Не тронула б её Советска ваша власть, и мы тогда б не в обиде на неё были.

— Ты по-понятному, по-простому объясни, что тот декрет про нас, казаков, толкует.

— Почитай нам то место в бумажке, штоб, значит, мы убедились сами.

Комиссар развернул лист, нашёл нужное место и громко начал читать:

— «Сельская земля с домашними садами и огородами остаётся в пользовании настоящих владельцев», — и, для пущей правдивости, заводил пальцем по бумаге, перечитывая уже сказанное ранее: «Земля рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуется».

— А что ж с той землёю, что, к примеру, под лесами?

— Всё, что на поверхности и что в её недрах: уголь, руды разные, соль и всё прочее — является отныне всенародным достоянием.

Казаки вновь заволновались:

— Так что ж, тепери и рыбки в речке не половишь али дровишек из лесу на зиму не нарубить и не привезть? Так, штоль?

Подобие улыбки тронуло лицо комиссара.

— Не так, — он заглянул в бумагу и прочитал: «Мелкие реки, озёра, леса переходят в пользование общин, при условии заведования ими местными органами самоуправления».

Казаки запошумливали веселее:

— Ну вот, эт совсем другое дело! Так-то у нас исстари и ведётся.

Уловив перемену, комиссар продолжил с большим напором:

— К тому всё и идёт, товарищи казаки! Но чтобы так было,

нужно перво-наперво закрепить Советскую власть по всей нашей земле.

— Эт ты к чему клонишь, милоч? — раздалось со стороны стариков.

— Я не клоню, а решительно призываю вас вместе с рабочими встать на её защиту от всех, кому власть трудового народа — как кость в горле. А почему? Потому, что она не позволит больше никому угнетать простой народ!

Сход забурился, и в поднышнем гуле разобрать, поддерживают ли казаки призыв комиссара или, наоборот, противятся, было невозможно. Он рассудил их по-своему:

— А как вы хотите? Отсидеться по своим дворам не получится, казаки! Советская власть освободила вас от войны и уже многих вернула к родным очагам, так боритесь же за неё, за своё свободное будущее! Сознательные рабочие по всей губернии уже создают отряды Красной гвардии, пришёл и ваш черёд создать Красные казачьи полки!

— Ты нам вот про что растолкуй, усмиряя казаков, подал голос вахмистр Кузнецов. — Временное правительство обещало уравнивать казаков в военной службе со всем остальным населением. Пообещало, да, по всему видно, долго жить приказало. А что твоя власть думает на этот счёт? Говоришь ты гладко, без

сучка, без задоринки, прямо заслушаешься, но опять, как и все прежние, воевать зовёшь.

— Верно, атаман, — понеслось со всех сторон, — нам уж с зимы про равенство толкуют, неплохо было б в таком разе отбывать воинскую повинность наравне со всеми.

Дав высказаться казакам, вахмистр вновь обратился к комиссару:

— Так уравниют нас с другими сынами России-матушки или так и будем мы одни до смерти эту лямку тянуть? Где ж тогда ваше равенство? И где ж свобода?

Комиссар тяжело, исподлобья, смотрел на атамана — его-то он точно не причислял к своим товарищам — затем, не сумев совладать с собой, раздражённо бросил:

— Свободу и равенство добывают в бою, а не у баб под тёплым бочком!

В одно мгновение поутихший было гул полыхнул с такой яростью, что пришлые невольно скучились, заняв круговую оборону.

— Ты сам-то где был, когда мы в окопах вшей кормили да газом травились?

— Заарестовать их да к Дутову!

— Навидались на фронте таких агитаторов! После ваших призывов и побежала солдатня с немчурой обниматься.

— Большого позора и не переживали николи, мать вашу!

Понимая, что может сейчас произойти, поднялся с места атаман.

— Тише, тише, казаки! Звон не молитва, крик не беседа! — и, развернувшись, в упор недобро посмотрел на комиссара: — Наши старики так говаривают: «Лучше недоговорить, чем переговорить».

Бледнея, комиссар с силой рванул на себе пальто, задрал низ рубахи, обнажая грубый синеватый шрам поперёк живота.

— Где я был? Там же, где и вы! Вот какую метку на себе ношу. Выжить, по всему, не должен был, да выжил! — и, гася самого себя и казаков, скупно усмехнулся: — Должно быть, с вами ещё не договорил.

— А чего ж тогда балаболишь, что казаки за баб прячутся?!

— Извиняйте, товарищи, признаю: загрёб чуток не туда. Не держите зла, время сейчас такое — нервное. А вас ещё раз призываю подумать. Крепко подумать! Знаю точно, что найдётся немало сознательных казаков, готовых под руководством большевистской партии бороться за справедливое устройство жизни для всех!

И, не давая казакам ответить, быстро добавил:

— Ну, а теперь можете меня и моих товарищей арестовать.

Ваше начальство обрадуется такому подарку.

Он отступил к своим.

Такого не ожидал никто. Разговоры стихли. Казаки с заметным напряжением смотрели на плотно сгрудившуюся кучку чужих людей, чья жизнь сейчас полностью зависела от их воли. Но те, не выказывая опаски, спокойно вглядывались в лица казаков. И это подкупало, потому как было по-ихнему, по-казачьи. Затянувшуюся тишину прорвал сначала один чей-то голос, затем ещё и ещё:

— Пушай идут!

— Дайте, казаки, им пройти!

— Благодарствуйте за понимание и поддержку, казаки, — враз осипшим голосом произнёс комиссар. — Надеюсь, со многими скоро встретимся в Троицке. Там будем формировать революционные отряды из вашего третьего отдела.

Ответом ему было глухое молчание. Казаки лишь слегка сдвинулись, образовав неширокий проход. И, кажется, никто из них не заметил, что решили всё сами, без атамана, как так и надо...

Немного оправившись после ухода комиссаров, казаки обратились к атаману:

— Что сам-то обо всём об этом думаешь, Андрей Фёдорович?

Тот ответил не сразу, тянул,

тяжело собираясь с мыслями, а потом произнёс то, что было на уме у многих:

— Пропадает Россия. Царя сбросили — корни подрубили. Говорят, будто сам отрёкся — брехня! С чего б ему отрекаться? На фронте дела пошли на лад. Если б не эти агитаторы всяких мастей... Помогли ему, казаки. Кто? Не ведаю пофамильно, да только понятно ж — все скопом, кто сегодня власть делят, Бога позабыв. Грызутся меж собой, аки волки, и всяк своё хвалит.

— Дак нам-то что ж теперя?

— А я, как и вы, не знаю ответа на этот вопрос. Ум и у меня нараскоряку.

Потом посмотрел на стариков:

— Их вот пытайте. Что скажете нам, господа старики, чему научите?

Старики зашевелились:

— За господ благодарим, атаман. А то, не ровён час, скоро лишь товарищами и будем.

— Мы так промеж себя кумекаем: комиссары, конечно, ничё не скажешь, речи умеют плести. Да только речи слышали, а дел их пока что не видали. Потому и погодить надо.

— Оглядеться да прикинуть, что к чему. Може, так обернётся, что и ента власть ненадолго. А совет наш таков вам будет: в смутные времена казаки всегда далеко от дома не уходили — оберегали, значит, своё хозяйство и

семьи. Вот и организуйтесь по хуторам да посёлкам в патрульную службу. Бережёного, знамо, Бог бережёт, а небережёного лихо стережёт. Не лишне то ноне будет, и всем спокойнее.

Казаки, согласно закивали: служба была невелика.

— Благодарствуйте, господа старики, за добрый совет! — атаман оглядел казаков. — Оно и взаправду не лишне будет. Сегодня ж издам приказ по станице о создании отрядов патрулирования.

Уже собрались по домам, когда кто-то из казаков всё же отважился на мучивший всех вопрос:

— Атаман, а ты-то сам за кого стоишь?

Он, конечно, ожидал этот вопрос и не затянул с ответом.

— Я, как и все мы, Царю и Отечеству присягал. Найдутся те, кто за них встанет, — с теми и пойду, — помолчал, обвёл казаков долгим взглядом и удивил, бросив совсем уж доселе невиданное и нежданное: — Пусть каждый сам, по совести своей избереёт, с кем быть... Нет больше той России, коей служили мы верой, сердцем и острой шашкой, други. А что ей на смену идёт — никто не знает, и какое в ней наше место — одному Богу известно.

И, будто опамятававшись и набирая силу в голосе, добавил:

— Но пока я ваш атаман, приказы мои исполнять!



## Глава 8

Дождь то затихал, то вновь принимался торопливо колотить по крыше и отчаянно стегать по окнам. Плотнее подоткнув с боков стёганное на вате одеяло, которым укрывалась теперь и летом, Дарья повернула лицо к окнам, представляя быстрые кривые струи, стекающие по стеклу, подумала: «Кости не проведёшь, ныли весь нынешний день с утра — вот и наныли к ночи дождь». И вдруг вспомнила: «Как и тогда...»

Дождь зарядил такой же проливной, хлёткий, потому и не заметили, как к дому подъехали нездешние казаки. Степана скрутили, ничего не объясняя, с издёвкой бросив на её вой, мол, поздно выть, коль красным продались. Обезумев, она бежала за ними, пока не упала на раскисшую от дождя дорогу... Кто её поднял и привёл домой, она не помнит. Очнулась уже на кровати. Вокруг стояли испуганные ребятишки, и свекровь зачем-то держала её за голову, не давая опуститься на подушку. Было нехорошо, голова шумела и кружилась.

— Лежи-лежи, Дарьюшка, отлежаться тебе надобно, — ласково настаивала Ксения Алексеевна, — с катушек спрыгнули нервы-то у тебя, падучая прям на дороге с тобой приключилась.

С тех пор припадки били её часто. Вдруг окружит голову — и темнота. А очнётся и не помнит ничего. Только зарёванные ребятишки вокруг. От Степана не было никаких вестей, только и узнали, что увезли его в Кособродку.

Однажды к дому подошла нищенка, постучала в ворота:

— Подайте Христа ради!

Отрезав небольшой кусок от ковриги, она вышла к ней за ворота. Женщина внимательно смотрела на неё и не торопилась брать хлеб:

— Что ж ты жалеешь, матушка, хлебца-то?

Дарья помнила, как вспыхнула:

— Да ты поглянь на мой выводок! Мал мала меньше, а хлебешек-то весь повыгребли комиссары проклятые, сусеки пусты, мужа заарестовали невесть за что, и ни завету, ни привету от него. Сами едва-едва концы с концами сводим.

Нищенка смотрела ей прямо в глаза и, казалось, прожигала насквозь.

— Ты ведь больная, а милостинку не хочешь подать как следует. Прибавь ещё чуток, не жалеи.

Дарья так и сделала: вынесла ещё несколько яиц да хлебца прибавила. Женщина уложила всё в торбу, а потом неожиданно приказала:

— Иди за мной, лечить тебя буду.

И, видя Дарьино замешательство, усмехнулась:

— Не бойся, мы ведь уж видались с тобой. Того не ведаешь, что на крестинах твоих я была.

Пришли на берег речки. Нищенка указала на траву:

— Собирай, заваривай и пей. А как попьёшь, выпишь хорошо. Сделаешь так, и скоро отступит падухая твоя, потому как от испуга она с тобою приключилась.

Помнится, как удивилась, что знает про её болезнь эта незнакомка, но откуда — спрашивать не стала, а начала собирать ту траву. Когда распрямилась через малое время, нищенки уже не было, словно в воздухе растворилась. Чего греха таить, испугалась тогда, к батюшке ходила. Он дал своё благословение:

— Прими совет, Дарья, от Божьего человека. Может, это Господь тебе избавление шлёт в твоём горе.

А ведь и вправду малое время спустя отступила напасть-то. Дарья опять вздохнула: «Грешно и сказать, а всё из-за старшего — Павла. Из-за него тогда Стёпушка страдания принял».

Зима 1918 года во всех станицах и посёлках проходила в жарких спорах. Спорили до хрипоты, до хватания друг друга за грудки. И всё ширилась и

ширилась пропасть между теми, кто поддерживал новую власть, и теми, кто стал сильно в ней сомневаться. Уж очень разнились большевистские лозунги о справедливой жизни с тем, как они стали укрепляться во власти. Поэтому-то многие фронтовики, готовые поначалу прислониться к Советам, пошли на попятную. И было отчего. По станицам и казачьим посёлкам пошли отряды вооружённых людей с красными повязками на рукавах и шапках, называвших себя красногвардейцами, для изъятия оружия, хлеба, скота, а также фуража для армии. Кабанку с близлежащими посёлками и хуторами Бог пока миловал, но было ясно, что надо ожидать грабежа и у них.

В один из вечеров к Бельтюковым постучались. Оказался Степан Кашин — младший Дашин брат, сообщивший, что отец ждёт для срочного разговора. Собрались не мешкая. У Кашиных их ожидали, и по скудной закуске на столе стало понятно, что разговор будет скорым. Хозяин, плеснув в стаканы, сразу перешёл к делу:

— В Житарях был, только что вернулся. У моей Степановны тама сродственников полно. Так вот, пощипали их красные всех без разбору, как курей. Собрали казаков, мандатом перед имя трясли, мол, в пользу голодающих в городах рабочих и их

семей будут излишки забирать. А где та мера, коей излишки меряются? Вот и гребли, как чёрт на душу положит.

— А что ж люди? Смолчали?

— Смолчишь, коль их вдвое противу местных-то оказалось. Да и с шашками на пулемёты не полезешь. Один только и дёрнулся было, Петро Окунев. Да вы с им знакомы!

Пётр Ильич утвердительно кивнул:

— И что?

— На кладбище снесли, вот что! — Пётр Николаевич едко усмехнулся. — Потому как сопротивление властям есть саботаж и расстрел на месте!

По лицам сидящих за столом пробежала нервная судорога. Помолчали, переваривая услышанное и понимая, что жизнь разворачивается к ним новым своим ликом, ещё не виданным, но уже осязаемо страшным.

— Плесни-ка, сват, чуток, — хрипловато произнёс Пётр Ильич, — в горле от слов-то твоих сухота издалася.

Закусив, похвалил хозяйку:

— Горазда твоя Настасья Степановна капустку квасить: хороша, ядрёна! А ты не томи, сказывай, пошто в Житари гонял? Поди, не запросто так. Что за нужда приспичила?

Пётр Николаевич нетерпеливо вывалил всё и сразу:

— Я так, сват, кумекаю: пока-

мест краснопузым туда соваться не резон — брать-то уж нечего — вот спехом и надо туда кой-что увезти да схоронить у сродственников на время.

— Эт как же, — чуть помедлив, с сомнением вглядывался в лицо свата Пётр Ильич, — а примут сродственники-то, не забоятся?

— Обговорено уж всё. Оне там на нову власть как волки лютые тепери глядят, не спугаются, подмогнут. Ну, им, конечно, долю выделим. Как без помочи?

— Когда ж везти? — опять не очень уверенно спросил Пётр Ильич.

Уловив его нерешительность, Пётр Николаевич недовольно цепанул взглядом сидящих перед ним Бельтюковых и, сдерживая себя, тихо, с нажимом, произнёс:

— Не умедлить бы, сват, важный час дорог. У меня уж зерно из амбара в мешки грузят. За полночь, как угомонятся людишки, и выведем.

— Не поспеет одной-то ночью, — уже соглашаясь, всё же осторожничал Пётр Ильич.

— В лесу переднюем, а потемну, Бог даст, доберёмся и до места. В сами Житари заезжать не будем. У двоюродника Степановны в бору схрон имеется, туды мы путь свой и направим. Он нас тама поджидать будет.

И по тому, как Пётр Николаевич решительно отметал все

сомнения, становилось понятно, что подошёл он к делу основательно.

Собирались споро. Зерно нагрузили на два санных воза. Скотину, как ни жалко, брать не решились: несподручно в зимнем лесу без кормов и тёплого укрытия. Стараясь не поднимать шума, направились из посёлка и опешили, увидев на выезде ещё несколько гружёных саней... Разъезжались молча, не глядя друг на друга и не спрашивая, кто куда направляется.

А скоро стали доходить тревожные слухи из-под Оренбурга о том, что там начались столкновения казаков с продотрядовцами. И, как гром с ясного неба, пришла весть, что в станицы Таяндынскую и Донецкую за неподчинение и сопротивление большевистской власти были посланы карательные отряды. Людей расстреливали из пулемётов, дома из орудий, уцелевшие — поджигали...

Этой страшной вести отказывались верить. Кабанские мигом собрались на сход. Пришли все — от молодых до седых ветеранов.

— Ну, что, казаки, показали большевички, какеи оне нам товарищи? — горячились старики. — А ведь говорено вам было: всех слушайте, а свой ум имейте! Ан нет, большевики, мол, за народ стоят, и власть у них

в Советах народная. Вот оне и показали вам, в чём у них ента власть заключена. Уж и не нать яснее-то казать!

Фронтвики вяло оправдывались:

— Наперёд не узнаешь, где найдёшь, где потеряешь.

Тут же послали гонца в Кособродку к атаману: разузнать, что да как. И не расходились, ждали. В головах не укладывалось — как такое возможно? И за что? За своё кровное, потом политое?

— Эт ишо уточнения требуются. Може, и не так всё было, — волнуясь, громогласно принялся успокаивать казаков Гаврила Плешивцев, назначенный председателем поселкового комитета в Кабанке. — Вам-то Советска власть плохого ишо ничё не изделала. Войну прекратила, дома вот сидим, зады возля баб и ребятишков греем, а не в окопах мёрзнем!

На фронте Гаврила слыл казаком смекалистым и не раз показывал, что не из робкого десятка, но дружбу с ним особливо никто не водил. Да и он на неё не напрашивался, понимал своё место среди потомственных природных казаков. Выходец из уфимских крестьян, в казаки, по наущению своих троюродных братьевъёв, уже давно казаковавших, он был повёрстан за пару лет до войны. К тому же его благоверная пока опорожнялась

одними девками, увеличивая семейство лишь бабьим родом, на который земли не полагалось. Потому числился Гаврила среди малоземельных и ручкался с такими же, как сам. А возле новой власти закрутился сразу деловито, верно рассудив, что ежели поближе к ней пристроиться да ей подмогнуть, и она его не обнесёт, поможет встать вровень с другими, а то и повыше многих.

— Ты нас на голос не бери! Заладил одно и то ж — что плохого власть изделала! А что хорошего?

— Дожили, мать вашу, «Мир, дружба, земля и фабрики работному люду!» И по ним же изорудий! Енто как?

— Не знай, что атаман прикажет, а молчать, казаки, негоже. Собираться нать по всполоху и отпор давать!

— Так, казаки! Иначе нас всех перещёлкают поодиночке!

— Тольки горланят комиссары красовито про свободу и землю, а вона вчерась в Поляновке был у сродника, так там уж начали земли у вдов отбирать да солдатам и пришлым отписывать. А обещали нам что? То-то!

— Солдаты и пришлые тож люди, им, как и нам, кормить детишков требуется, — Гаврила утирал вспотевшее лицо. — Надо проявить к ним понимание и поделиться.

— Залобить их, значит?! Ты,

Гаврила, давно так-то мыслить стал?

— Россея большая, пусть заселяют нетронутые земли и живут. Почто наша земляца потребовалась?

— Вона до чего, казаки, допрыгались! А что ента земля нам кровью нашей и наших отцов и дедов отписана, ничего уж и не значит!

— Верно, мы землицу нашу не у кума в карты выиграли!

— При всякой встрече всё те же речи! — низко загудел отставной солдат Андрей Мосолов. — Я тож на войне был и, как вы, кровь свою за Отечество наше проливал. А у меня на всю мою ораву землицы той — кот наплакал! И где ж тут справедливость?

— Вы вот, казачки, своё добро попрятали, а мне и трудиться было не нать, потому как и прятать нечего! — поддержал Андрея ещё один из малоземельных.

Казаки, набычившись, переглядывались: выследили, стало быть.

— Своё схоронили, не ваше! Может, сдадите нас, как продотрядовцы зорить придут?

— А что ж, жалеть вас прикажете? Хватит, нажировались!

— Эт кого ж тута от жира распирает? Эт нас, кто завсегда грудь свою первыми под пули подставлял?!

— Мы тож дома не отсиживались, насиделись в окопах по самое не хочу!

Только что казавшаяся одним целым толпа, как по команде, ошестинилась и развалилась надвое, готовая сцепиться в рукопашной. И в этой всеобщей озверелости уже никто не скрывал своего отношения к новой власти. Отрезвляющие окрики стариков действовали не сразу, и понятно стало, что это лишь временная оттяжка, и былого мирного соседства больше нет, и не будет уже никогда.

— Вот вы всё про землю толкуете, — Гаврила пытался увести разговор в другую сторону, — а ведь большевики многое чего обещают трудовому народу, например, всеобщее равенство и братство, и без богатых, без генералов там, помещиков и фабрикантов. Всё богатство у них отобрать и самим, значит, править страной, и всё, что нароботаем, поровну, по справедливости распределять. Диктатура пролетарьята, одним словом!

— Эт где ж ты, Гаврила, слов то таких нахватался? Не у себя ли в деревне?

Лицо Гаврилы медленно наливалось кровью, не любил он, когда поминали его крестьянское прошлое, но стерпел, лишь нехорошо зыркнул на обидчика, за поминая.

— Не верите?! А я верю, что жизнь будет таковой! Надо лишь

подсобить Советской власти укрепиться повсюду.

Расходились далеко за полночь. Посыльный из Кособродки вернулся чернее тучи. Качаясь от усталости, подтвердил слухи о разгроме станиц, дополнив их новыми, леденящими душу подробностями. Малая надежда на то, что кто-то распускает слухи, чтобы запугать казаков, рухнула.

— Что ж, казаки, выходит, у новой власти грош нам цена в базарный день?

— Надо бы хуже, да некуда!

Ошарашенные от всего происходящего казаки быстро расходились по домам, и скоро в школе остались лишь солдаты да малоземельные, только-только начинавшие казаковать.

Ещё не остыв от спора, Гаврила крупно мерил комнату шагами:

— Ништо, ишо неизвестно, чья возьмёт! Мы так просто не уступим! Хватит вам, господа-казачки, жировать одним. Мы тож хотим кусок послаще, придётся делиться! — на его лице ходуном ходили желваки.

— Эж как тебя раззадорило-то, Гаврила! Охолонь, сядь, не маячь перед глазами! — Андрей Мосолов окинул оставшихся быстрым взглядом и заговорил спокойно, но жёстко:

— Я так кумекаю, что отсидеться по домам, по всему видать, не удастся. Война — она,

как оказалось, и дома быват. Видно, опеть за оружье братья придёт, да тольки уж не с германцем, так-то вот жизнь повернулася. Потому хочу вас упредить: медлить нельзя, решить настало кажному, или с большевиками заодно, или ж противу них. Лично я с имя пойду. Вот завтра и сберусь в Троицк.

Люди зашевелились:

— Выходит, погостевали чуток возля баб и ребятишков — и опять на войну?!

— Как-то противу своих... Верно ли, братцы? Неловко как-то.

— Каки они свои? Она как в добро своё вцепились, волками на нас смотрют, словно мы им враги кровные!

— Да тута не об чем и разговоры вест, ясно, что равными себе казачки никогда нас считать не станут. Оне ж сами заявляют, что, мол, казаки от казаков лишь ведутся.

Гаврила вновь вскочил на ноги.

— И я в Троицк! Перехожу в красную веру. Насовсем, с концами! За новую власть без генералов и наших куркулей встану! — и, с силой сжав увесистый кулак, погрозил им в тёмное окно: — Встретимся ишо, дайте время!

Кто-то несмело возразил:

— Дак что ж, выходит, по Писанию, брат на брата? Коли далее так-то, прахом вся жисть пойдёт!

Гаврила зло повернулся к говорящему:

— А я тебе не утешник! Сам решай, кому душу продать. Не знай, как вы, а я на ентом вот сходе прозрел окончательно, раз и навсегда, и тепери знаю, какому богу молиться стану. Лишь бы толк был. И неча тянуть, братцы: кто с нами — к рассвету штоб готовы были к отъезду!

Подходя к своему дому, Гаврила разглядел в темноте маячившую у тына неясную фигуру.

— Кто здесь?

— Не боись, дядя, ето я, Пашка.

— Соплив ишо тебя бояться, — узнавая старшего сына Степана Бельтюкова, произнёс насмешливо, — чего тебе?

— В Троицк собираетесь, дядя Гаврила?

— Твоё како телячье дело? Иди отсель!

— Возьми и меня с собою!

Удивлённый Гаврила не дал ему договорить:

— От сладкой жизни, штоль, бежишь, парень? Видать-то, и у вас сладко, да не всё гладко?

— А вправду вы давеча говорили, что большевики за равенство среди всего трудового народа стоят и вообще за равенство всех на земле? Я тоже хочу...

— Перехотишь! — опять зло перебил его Гаврила. — На драку идём, не на гулянку. В первом бою и скиснешь.

— Не, — горячо зашептал Павел, — я в себе силы чувую, сдюжу. Очень любопытствую увидеть, как так жизнь устроится без господ, чтоб самим всем управлять. За мировой пролетарьят...

Гаврила, уже с интересом всматриваясь в парня, подумал: «Дурит по молодости, конечно, ну и чёрт с ним. Чего б и не поднасолить ентим лавочникам. Пушай потом расхлёбывают».

— Ну гляди, Бельтюков, не пожалей потом. Давай, шибче собирайся да тихомолком к балке, что вдоль ручья, выходи. Подберём тамо тебя.

— Я не один собрался, с дружкой решили.

Но Гаврила уже не слышал его. Войдя в избу, растолкал спящую жену, приказал собрать что надо и вышел во двор к коню. Чуть забрезжило, когда он, подъезжая к балке, различил четверых верховых. Усмехнувшись, останавливая закипающую было кровь:

— Ништо! Лиха беда начало. Прибегут и иные, дай срок.

На одной кобыле сидело двое.

— Эт кто ж у нас так-то воевать собрался?

— Да мы с Мишкой на одной лошади покамест, — оправдывался Пашка. — Вторую-то не взять было, одна у него лошадь в дому.

— Почто сопливых брать, Гаврила? — недовольно спросил

один из верховых. — Каки оне ишо вояки? Шашкой махать — не ложкой, сам знашь.

Но тот резко оборвал сразу всех:

— Будет брехать! Были ребята, а теперь казаки! Тронулись по-тихому!

Он обернулся на Кабанку. Сквозь предраcветный сумрак смутно проглядывали очертания подворий. Тихо повторил: «Поквитаемся ишо».

Выбравшись на большак, они пошли машистой рысью. И у каждого: у того, кто оставался пока у родного очага, и у того, кто нёсся сейчас навстречу другой, новой жизни, — была своя правда. Как и своя неправда тоже. И решать, кто из них больше прав, отныне будет уже не слово, а шашка и пуля...

## Глава 9

Узнав о побеге своего любимца, слёг Пётр Ильич, и Ксения Алексеевна не отходила от него ни днём ни ночью. Степан пропал на заднем дворе, набело вычищая в стайках, молчал, не в силах заговорить о сыне даже с Дашей. А она, острожевав лицом, громче обычного распорядилась в доме и в лавке, не давая никому спуска и пресекая любые разговоры о Павле. И лишь долгими бессонными ночами позволяла



горю выплеснуться наружу. Повалясь на колени перед божницей, шептала и шептала свои мольбы: «Господи! Возврати домой нечестивца моего Павла. Не ведает, что творит, потому как по младости ум прост ишо — неразумен и легковверен. Сохрани его от сатанинских напастей, от желания поднять руку на своих же казаков. Да пребудет с ним Святой Покров Заступницы нашей, да охранит Он сполошного сына моего от озлобления, пули и шашки...»

А вскоре по наезженному зимнику в Кабанку прибыли продовольцы. Около двух десятков человек, одетых в гражданское, с красными полосками материи на шапках и вооружённых по большей части трёхлинейками. На одной из подвод стоял зачехлённый пулемёт. Прибывшие по-хозяйски расположились в здании школы, перегородив саями улицу и выставив у крыльца часовых. Затем, поймав пару любопытных казачат, приказали оповестить кабанских, чтобы спехом подтягивались сюда же к школе. Но по реденькой кучке подошедших стало понятно, что казаки решили дожидаться гостей по домам.

На крыльцо вышел грузный, средних лет человек с нездоровым одутловатым лицом, перепоясанный офицерской португеей, и, окинув жиденькую толпу,

состоявшую в основном из стариков, зло усмехнулся:

— А что ж казачки ваши? Не интересуются новой властью?

— Да ты с нами потолкуй, мы всё и передадим кому след.

Он недобро перебил стариков:

— Не об чем мне с вами толковать! Даю ещё полчаса на сборы. Не захотят прийти — поможем!

Скоро толпа людей у школы заметно увеличилась. Человек в португее громко объявил: «Я, командир отряда Красной гвардии Зверев, уполномочен от имени Военно-революционного комитета по Оренбургскому краю объявить следующей приказ». Он развернул лист бумаги и начал читать: «Первое — для установления порядка и нормальной жизни, а также для упреждения имеющего место саботажа в казачьих станицах и поселениях приказываю: провести разоружение казаков, конфисковав у них в полном объёме всё имеющееся стрелковое и холодное оружие. Каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи, расстреливать на месте! Второе — в помощь голодающим рабочим в городах, а также для снабжения отрядов Красной гвардии произвести конфискацию продовольствия и фуража в казачьих станицах и поселениях. Конфискацию, по возможности, провести на добровольной основе.

Уклоняющихся и саботажников — расстреливать! Председатель Оренбургского Военно-революционного комитета Цвиллинг».

Он оторвался от листа и, нажимая на слово «товарищи», бросил в молчащую толпу:

— Возражения имеются, товарищи казаки?

Толпа чуть заметно колыхнулась и продолжала безмолвствовать. Уже зная от других, с чем пожалуют продотрядовцы, люди приготовились к тому неслыханному, не укладываемому в головах, что в лице этого уставшего, больного, чужого человека жутковато страшно опрокинулось теперь и на них. Но принять это для многих казалось невысказанным, невозможным...

— А хрена моржового не хотите, штов я шашечку вам отдал, — с жаром прошептал кто-то из кучно стоявших Плешивцевых. — Дед ишо намахался ей в Хиве, а вам запросто так отдать?! Натк вот, выкусите!

— Ополыснуть бы им по мусалам — и одним чохом в овраг, — тихо предложил ещё чей-то голос.

Ему так же тихо возразили:

— Где там. Сомнут в момент с пулемётом-то.

И снова тишина.

Понимая, что другого от казаков не дожидаться, Зверев круто перешёл к делу:

— Оружие будем принимать

здесь, в школе, так что поторпливайтесь, казачки, срок вам до вечера. Каждый сам своё сдаст, самолично, под роспись. Преду-преждаю, что за посёлком выставлены патрули, так что дальше околицы никто не выйдет!

Сносили то, что заранее было приготовлено для сдачи: винтовки, старые зазубренные шашки, трофейные наганы, патроны. То, чем дорожили, давно уж и надёжно припрятали... И не торопились, оттягивая время, когда чужаки пойдут шарить по дворам.

Утром, чуть забрезжило, они начали сразу с двух концов. Сам Зверев, то и дело вытирая раздражающей ладонью иссера-отёчное потное лицо, заглянув на пару подворий с полупустыми амбарами и не имея сил устроить дознание, недобро, в упор, смотрел на хозяев:

— Подготовились, контры!

И, глядя на своих воспалённым взглядом, рыкнул:

— Выгрести всё без остатка вот у этих! — в его руках появилась смятая бумажка, исписанная неровными буквами. — Да по сеням как следоват пошарить, там приварок хороший будет! У остальных брать половину!

Скоро выяснилось, что в списке значилась большая часть села — все справные хозяйства, в том числе и Бельтюковы. Это был первый донос на своих.

Грузили до вечера под испуганное мычание и ржание уводимой из тёплых стаек животины и молчаливое непротивление всей Кабанки. Так сохраняли людей, дома, минуя участь расстрелянных станиц, до времени отложив плату за своё разорение и унижение. С отъезжающими санями, с награбленным добром уходила последняя слабая надежда, что с новой властью можно как-то договориться. Спорить стало не о чем...

## Глава 10

И с первой ростепелью занялось повсеместно. Казаки дружно сколачивались в партизанские отряды и боевые дружины, кружили вокруг своих станиц и посёлков, отгоняя от них отряды красных. Многие, уже не колеблясь, подались к войсковому атаману. Братья Бельтюковы разделились: Степан и присоединившийся к нему неслужилый Иван оставались в боевой дружине на охране посёлка, Михаил отправился к Дутову. Вскоре отовсюду стали приходиться слухи, что казаки серьёзно теснят большевиков. Тут-то и припомнили Бельтюковым, с кем их Пашка.

Раз в ночном дозоре стоял Степан в паре с одним из поляновских казаков, что соединились с ними в один отряд. До

полуночи на конях обьезжали вокруг посёлков. За полночь вдруг резко посвежело. Налетевший откуда-то из-за Кабанки шальной низовик жёстко прошуршал прошлогодним камышом и с размаху хлестанул по голым веткам прибрежного тальника. Конь под Степаном тихо заржал.

— Что, не по нраву погодка-то? — слегка качнувшись вперёд, он ласково погладил коня по выгнутой от ветра шее.

— А и вправду, Степан, чать не лето, застудиться можно легко. Давай в укрытие како ни то, да костерок малый разведём, согремся.

Они направили коней к полой балке, поверху густо заросшей кустарником, спешились, разложили небольшой огонь.

— Как думаешь, Степан, долго ишо канитель эта будет продолжаться? — вновь заговорил поляновский. — Скоро уж на пахоту выходить, а тут опять на боевых конях вот сидим.

— Кто ж его знает, как дело обернётся. Одолеем большевиков, нет ли — одному Богу то известно.

— А ты, по всему видать, сумлеваешься, что одолеем.

Степан помолчал, скручивая «козью ножку», наполнил её из кисета мелко нарубленным табаком, повернулся к напарнику:

— Тут вот како дело, смотри,

сколь фронтовиков к ним пода-лось. Из наших, кабанских, почитай что треть и ушла. Все, у кого земли помалу, — все у них!

— Да, — протянул поляновский, — земляца-кормилица нас рассорила. Так ведь и твой старший вроде как тож к большевичкам подался? Ему-то чего мало показалось? Уж точно не от бедности побежал.

Степан поднял валявшуюся рядом сухую тычину, поворочал ею в костре, взбавляя огонь, глянул на напарника — продолжать разговор иль нет — и вдруг его прорвало:

— Веришь, ночами спать не могу, об том же думаю. С чего бы сбежать-то? Всё промеж нас ладом было. Кака холера его с пути сбила, не могу в толк взять.

— У нас к Дутову вчерась двое казаков сорвались, — перевёл на другое напарник, но Степан опять повернул на своё:

— А я, по чести сказать, потому не пошёл с братом к Дутову, что боюсь, вдруг в бою с сыном столкнусь. По башке его шалопутной рубануть прикажешь?! А как потом на свете жить, как в глаза матери его смотреть, что сказать? Да и подымется ли рука пусть и на непутящую, но кровинушку свою...

Напарник уже с интересом поглядывал на Степана:

— Слышал я, что приказ по нашему отделу вышел — всех, кто с

большевиками как-то связался, из казаков попрут с позором, а то и под расстрел подведут. Как оне с нашими делают.

Степан ничего не ответил, подумал: «Зря разговорился про Пашку. Чужое горе — не горе». Замолчали, думая каждый о своём. К утру ветер разгулялся ещё пуще и, тонко подвывая на полянах, быстро гнал по светлеющему холодному небу налитые лиловым облака. Поляновский поднялся, затоптал тлевшие головешки костра:

— Ну, слава те Господи, спокойно переночевали. Пора по домам.

— Должно, дождь надует, — отозвался Степан.

А через день за ним пришли. Скрутили без объяснений и по раскисшей от дождя дороге повезли в станичную Кособродку.

В добротном, по всему видать, недавно отстроенном сарае таких, как Степан, набралось с десяток. Оглядевшись, он обнаружил несколько знакомцев.

— Здорово живёте, братцы!

— Да уж куда здоровее, — отозвался один из них. — Не угадаешь меня, Бельтюков?

— Здорово, Михайло, — повернулся к нему Степан. — Должно быть, и полугодом не прошло, как бражничали на крестинах в Санарке твоей.

— А тепери вишь, где встретиться пришлось. За что тебя взяла, Степан?

— А шут его знает! Ничего ж не объясняли, повязали и сюды.

— Може, сочувствие к красным проявил како? Да не. Какой ты красный с твоими-то доходами!

— Не я проявил, а Пашка, сын! Сбёг с голопятыми в красные конники.

— Вот тебе и зацепка. У меня тож из-за ентого ж весь сыр-бор и вышел.

— В скорости и зачнут за их с нас спросать, — из угла подал голос седой, в преклонных годах, казак. — Оне дурком ускакали, а с отцов шкуру будут сыпать, мать вашу.

Через несколько дней казак из охраны, раздавая кашу, шепнул:

— Готовьтесь, дознание с вас сыпать зачнут сёдни.

— Как думаешь, что потом? — зачем-то спросил у него седой казак.

— А енто уж не мне решать, начальство на то имеетя. Только сдаётся мне, что дела ваши — табак! Слышал я, изменниками казачьему делу вас называли. Так вот, ни больше ни меньше.

— Я! Изменник?! — старик вскочил на ноги. — Да я с японской с двумя Георгиями вернулся! И раньше... — он задохнулся и, онемело хватая воздух, медленно осел на солому. — Дожились.

— Не ори, не положено! — охранник зачерпнул воды из стоявшего у двери бочонка, поднёс

старику. — Выпей вот, поправься.

Тот протянул к кружке дрожавшую руку, вяло глотнул и отдал назад:

Вот ведь старость проклятая, сомлел совсем. А бывалоча ранее-то...

Он не договорил. За дверью послышалась беготня, тревожное ржание коней и вслед за этим отдалённая частая стрельба. Арестованные прилипли к маленькому оконцу, но разглядеть, что там на улице, было невозможно. Только и увидали, как, отстреливаясь, двое казаков пятились за их сарай. Стрельба то приближалась, то опять отдалялась, и уже где-то недалеко яростно замолотил пулемёт.

— Борзо долбит, короткими, прицельно! Узнать бы, чей, красных аль наших, — Михайло примасивался к узкой щели между косяком и дверью. — Не видать ни хрена!

Казаки заозирались, осматривая стены, потолок, пытаясь найти хоть малый намёк на вышное:

— На века делано. Самим нам отсель не выбраться.

— Попали как кур в оцип. Не знашь, что тепери и лучше для нас.

— А хрен редьки не слаще: и те и другие могут легко в распыл пустить!

За дверью послышалась возня, щеколда, пискнув, отскочила

прочь, и в проёме показался всё тот же казак из охраны. От его правого уха до плеча шёл тёмно-красный след:

— Красные. Много их. Одолевают, — он не говорил — хрипел. — Огородами до реки не долго. Там копи заброшенные, укроетесь.

— Ты-то как же? С нами давай!

Превозмогая боль, он отмотнул головой:

— Не теряйте зря слов. Быстрой! Огородами, ползком да оврачком до реки. Жить захотите — найдёте!

Казачьи ужины выскользнули за дверь и, распластавшись по земле, юрко поползли к ближайшему огороду. Яростная стрельба доносилась теперь из центра станицы. В наступающих сумерках они быстро миновали огороды, не встретив ни одной живой души, и, скатившись в овраг, чуть перевели дух.

— Може, кто знат те копи? Бывал в них? — раздался чей-то громкий шёпот. — Я не здешний, не бывал в них, лишь наслышан, что в них когда-то камень ломали, а потом и золотишко добывали.

— Что их искать-то, прибыли уж, считай, — отозвался старик. — Вона обрывы на бережку, оне и есть.

— А и надёжно ль будет тута укрыться? Може статься, что

енти камни ловушкой станут. Я, к примеру, за ночь до своей займки легко доберусь.

— Вольному воля, кто ж тебя держит. Из тюрьмы, слава Богу, выбрались, тепери пусть каждый поступает, как ему виднее.

В копи пошли четверо: Степан с Михайлой, вконец ослабевший старик и ещё один казак с Увелики. Уже в темноте нашли подходящую неглубокую пещерку с остроконечным валуном, перегораживающим в неё вход, затаились, прислушиваясь. Стрельба заметно редела и вскоре совсем стихла, но по долетавшему сюда надсадному лаю собак было понятно, что Кособродка не спит.

Первым провалился в беспоконный сон старик. Прислонившись к шершавой стене, он с трудом то поднимал отяжелевшие веки, всматриваясь через темноту в сидевших рядом, то, что-то невнятно бормоча, вновь опускал их.

— Подымить бы, — Степан привычно пошарил по карманам, зная, что ничего там не найдёт.

— Да, табачком затянуться было б сейчас в самый раз. Може, и в животах не так бы урчало.

— Не трави душу, Михайло, хоть бы водицы испить — и то полегче б стало.

— А должна она здесь быть. Какой ни то малый ручёек в реку обязательно бегит.

Они бесшумно выползли из пещерки, огляделись и стали слушать, но желанных звуков стекающей воды слышно не было.

— Ближе к реке давай спуститься, може, там что и найдём.

Неслышной поступью, выученной ещё в юных годах, они выбрались наружу и, прижимаясь к отвесной стене, пошли вдоль неё.

— Стой! Ишо шаг — и пуляну прям в лоб!

От неожиданности казаки присели и, оглядываясь по сторонам, пытались определить, откуда идёт голос.

— Да ты, прежде чем пулять, покажись, кто таков будешь?

Строжась, из-за уступа показалась перевязанная белым голова.

— Мать честная, да эт, кажись, наш спаситель! — приглядевшись, узнал Михайло. — Знать-то, судьба нас друг за другом водит.

И, уже не таясь, предложил:

— Давай спускайся, потолкуем.

— Не смогу я, братцы. Вы к нам лезьте, — также признав арестантов, прохрипел охранник.

— К кому эт к вам?

Степан с Михаилом поднялись наверх. На небольшой площадке, отгороженной от села каменным уступом, вповалку лежало несколько казаков. Они не поднялись при их появлении, и

это могло означать только одно: зацепило их нешуточно.

— Что там? — кивнул в сторону Кособродки Степан.

— Пропустили мы красных, вот что! Вроде и дозор был из толковых казаков, а надо ж — пропустили их подход.

— А може, только вид сделали, что не заметили, — подал голос один из лежавших.

— Да ну, Петро, — возразил ему другой, — не может того быть. Что уж ты так-то.

— Всё может тепери! Будто не слышали, что в Кичигинской одного на переговоры послали с красным командиром... Как бишь его? Да фамилья ишо у него нерусская...

— Блюхер вроде, — подсказали ему.

— Вот-вот, к этому Блюхеру он пришёл, да и сдался, и списочек казаков, кто противу Советов особенно выступал, состряпал. Всех по списку тому под расстрел подвели. А вроде тож из надёжных был.

— Остальные-то казаки где? Куда отступили?

— А кто его знат, кто где есть. Рази разберёшь с переполоху-то? Только чую, что те, что на площади отбивались, в окружение попали.

— Мы-то у складов были, оттудова и отбиваться стали, — вмешался в разговор охранник, — а большая часть казаков при

начале стрельбы на площадь, к атаману ринулась. Красные с двух сторон и лупанули туда из пулемётов.

— Что ж тепери?

— Ждать! Что ж ишо-то! Со временем прояснится, что да как.

— Опасно здесь надолго-то оставаться. Красные и сюда могут наведаться.

— Могут, конешно. Тольки ийти нам отселева некуда и немочно. Примем последний бой тута, коль так судьбина распорядит.

— А вы-то сами как? С нами? Аль осерчали на казаков за арест и тепери вроде и не с нами? — полюбопытствовал охранник.

Михайло стрельнул по нему быстрым взглядом, и по тому, как он раздражённо хмыкнул, стало понятно, что вопрос задел его за живое:

— Буде языками понапраслину молоть! Каки мы не свои? Вот выбраться бы отсель невредимыми...

Стараясь смягчить разговор, охранник перевёл на другое:

— Сколь вас тута? Вроде в сарае поболе было?

— Четверо нас осталось, остальные в бега подались по домам.

Поговорив ещё немного, Степан с Михайлой вернулись к своим. Весть о том, что они здесь не одни, не обрадовала напарников.

— Выбираться надо отсель

быстрее, пока мешок ентот каменный могилой нам не стал. Не обойдут красные копей, эт уж как пить дать, — недолго думая, заявил старик.

— Правы оказались те-то, кто не полез сюды, — поддержал старика и увельский.

— Поздно о том разговаривать, — возразил им Степан, — светать уж скоро зачнёт, куды сейчас вылезать. Только что им на глаза. Схорониться нать покамест поглубже, а там, как судьба-злодейка рассудит.

Утро занялось безрассветное, хмурое. По низкому небу несло и несло пепельно-сизые волглые космы, и в их нескончаемом стремительном гоне чудилось что-то зловещее, давящее, какая-то необъяснимо тревожащая тайна.

Смутное беспокойство Степан ощутил тотчас, как открыл глаза, и оно быстро острело, переходя в уверенность, что что-то должно произойти. Ненароком подумал: «Може, и видел кто, как мы сюда добирались...»

— Да ты, гляжу, не в себе, паря, — Михайло пристально всматривался в Степана, — что за немогута с тобою?

— Пошто так решил?

— Дак ведь, как говаривают, что на сердце томится, то на лице не утаится.

Степан не стал дольше скрываться:



— Давит в груди, словно беду  
паку чую...

— Ты давай не раскисай,  
Бельтюков, нам ишо отсель вы-  
браться живыми нать. Не наго-  
няй тоску-печаль.

— Рад бы, да что-то муторно  
мне...

Скоро со стороны станицы  
послышался невнятный шум.  
Постепенно он становился всё  
слышнее, притягивая внимание  
укрывшихся в копиях. Невиди-  
мый, непонятный, томительный,  
казалось, он длится бесконечно,  
рискуя порвать натянутые до  
предела нервы людей. Вот он  
унырнул в овраг и выбрался из  
него, став густым, с хорошо раз-  
личимыми голосами и тяжёлым  
шарканьем многих человеческих  
ног.

— Ты как хошь, а я посмо-  
трю, что там, — оглянулся на  
Степана Михайло и скользнул к  
закрывающему вход камню. Сте-  
пан последовал за ним.

Из их схрона хорошо было  
видно, что делалось внизу. У  
кромки большого, залитого  
свинцово-мертвенной водой шур-  
фа в неровной шеренге выстро-  
илось с десяток окровавленных,  
с трудом державшихся на ногах  
казаков. Ещё с полсотни, взятые  
в кольцо красными, сбились в  
плотную кучу. Позади них и с  
флангов стояли пулемёты.

Раздалась команда, и сто-  
явшие у кромки казаки разом

соскользнули вниз, и слышно  
было, как, принимая их, глухо  
ухнула вода.

— Прицельно бьют, сволоты!  
— ярость, безудержная, безрас-  
судная, рванулась из Степана  
наружу, готовая натворить бед  
для всех, кто в эти минуты на-  
блюдал за происходящим из ка-  
менных щелей. — Михайло, что  
ж сидим-то? Почто те-то не стре-  
ляют, ведь при оружии?

Михайло крепко перехватил  
Степана по спине, зло зашипел:

— Только и ходу, что с имя  
заодно в воду. Не высывайся,  
дурья ты башка! Куды с одними  
кулаками выскочишь?!

И вдруг оттуда, снизу, понес-  
лись протяжные странные зву-  
ки. Они не смолкали, не преры-  
вались, а тянулись и тянулись,  
уходя за реку в степь, и, подни-  
маясь сюда, в развалины, обре-  
тали подобие песни, которую за  
камнями было не разобрать.

— Мать честная, неушто  
поют?! — Михайло ошарашен-  
но глянул на Степана. — Аль уж  
блазнится мне?

— А я думал, что эт я умом  
тронулся.

— Песня-то кака, слышишь  
слова-то? А може, только обман,  
что песня? Ужась-то кака: их  
стреляют, а оне...

— Може, не песня то вовсе,  
а псалмы, — подсунулся к ним  
увельский, — но то, что поют, точ-  
но! Расскажи кому — не поверят!

Не в себе, в ледящем кровь благоговейном онемении, следили они за тем, как толкали казаков к краю гибельной пропасти, а они, словно не замечая того, глядели в небо, поверх палачей. Так и исчезали в мёртвой воде...

Выждав, когда подводы с красными окажутся по другую сторону оврага, все, кто прятался в копиях, собрались вместе. Ещё не отойдя от только что пережитого, потерянно и виновато молчали, не зная, с какого конца начать разговор. Первым нарушил молчание старый казак.

— Уходили, как истые казаки! Без страха смерть принял! — он обвёл всех затуманенным взором и указал наверх. — И тем самым вознесся над нею!

По лицу старика текли слёзы. Они застревали в морщинах, скатывались на бороду, но он не пытался их утирать:

— Не посрамили чести дедов и своей!

— А я, братцы, будто в храме побывал, причастился будто святых тайн, — подрагивая голосом, произнёс увельский. — Сам не пойму, как то можно объяснить словами, но вот увидел их, в небо смотрящих, и мурашки по спине. И будто не оне в небо смотрели, а отудова на них смотрели...

— Да, тепели-отгуляли братушки. Царствие им небесное.

И что обидное, свой своего бьёт. Не басурмана какого ни то, а русскую кровь льём и греха в том не видим! Как его понять?

— Сколь же их полегло? На мой глаз, так более полусотни уложили.

— Так оно и будет.

— Что ж так и станем тепери друг друга изводить? — казак из охраны оглянулся на арестантов. — Вот, к примеру, вы почто противу своих пошли?

Старик посмотрел на него усталым взглядом и, не в силах отстаивать свою правоту, отвернулся к стене.

— Не пори горячку, паря, — Михайло завёлся с полуоборота, — тут разобраться надо.

— Дак за что ж вас заарестовали, как не за измену?

— Ты сам-то поверил, что мы изменники? Почто тогда выпустил нас, врагов?

— А шут его знат, почто пожалел! Свои ж вроде б, к одной станице приписаны.

— То-то и оно, что свои. У меня, к примеру, брат сродный к красным подался, у его вон, — Михайло кивнул на Степана, — сын к ним по дури малолетней убёг, а мы за них, значит, отдувайся!

— Чего переметнулись-то?

— А что, мало таковых стало? Кто ж расстреливал только что наших братушек? Не такие ж ли иуды?

— Ох, грехи наши тяжкие. Антихристовы времена настали на земле, как по-другому енто можно назвать? — слабым голосом отозвался старик. — Вы вот о чём думайте — как выбираться будем. Оставаться опасно, комиссары опеть могут наведаться: кто знат, може, у них ишо есть кого в ямины-то енти поместить навечно. Придут да и надумают камни-то проверить.

— Мы из копей не двинемся, укрываться покамест тута будем, — ответил за всех один из местных казаков. — Красные не навечно здесь, придёт и другая власть.

— Дай-то Бог! Но без провианта долго не продержитесь, — подал голос увельский.

— Найдут нас свои. Придут на место расправы и найдут. За ентим дело не станет.

— Ну, и мы к своим будем пробираться. Дома-то и помирать не так страшно, — Михайло посмотрел на местных. — Закрутить бы хочь одну на всех «козью ножку», братцы. Ухи аж припухли без курева-то.

То ли от пережитого, то ли от того, что больше суток во рту не было ни крошки, Степана слегка мутило. Он передвинулся ближе к краю площадки под ветерок и, ощущая в теле предательскую слабость, прикрыл глаза. Думать ни о чём не хотелось...

— А ведь я, Бельтюков, сразу

тебя приметил, когда тебя в сарай заводили. Думаю, коли в распыл его пустят, так я вызовусь стрельнуть.

Степан, наверняка зная, кто с ним заговорил, лишь усмехнулся:

— Эт за что ж мне от тебя такая честь?

— А за Дарью! Не признал, гляжу, меня, а ведь эт ты её изпод венца тогда увёл! Аль не припомнишь?

— Признал. Как не признать! И не я у тебя, а ты у меня пытался Дарью забрать. Только не вышло по-твоему, вот и вся недолга.

Кособродский не отставал:

— А если б, к примеру, всё наоборот повернуть — я, значит, заарестованный, приговорённый — ты б в меня пуленьул?

Степан скосил на него глаза:

— Ну ты и даёшь, паря! Зачем бы ты мне сдался! Негоже истому казаку побеждённого не в бою убивать.

— Эт кто ж тут побеждённый? Когда?

— А помнишь скачки-то? Помятное дело, зачем позор свой помнить! — Степан опять усмехнулся. — Вот тогда я Дарьюшку свою у тебя и выиграл!

Сдаваясь, кособродский пошёл на попятную:

— А тепери, выходит, вместе спасаемся. Вот жисть настала. Всё кувырком в ней: кто враг, кто друг — ничо не разобрать.

В загустевших сумерках трое — Степан с Михайлой и увельский казак — осторожно выбрались из укрытия (старый казак, вконец обессилев, решил остаться с кособродскими). Опасаться было пока нечего.

— Ну, погостевали тут, и будет, — Михайло повернулся в сторону шурфа. — Подойдём, простимся с братьями.

Они подошли к самому краю и встали на том месте, где недавно стояли расстрелянные казаки.

— Земля вам пухом, братушки. Век помнить будем ваш уход, — перехваченным горлом выдавил из себя Степан.

— У нас тепери к красным должок за вас имеется, — подхватил Михайло.

Скорым шагом они направились в сторону степи, к чернеющему вдалеке бору. Там и разделились, пробираясь каждый своей дорогой. Степан шёл до дому, хоронясь людских глаз, а подойдя к Кабанке, до ночи залёг в камышах. По темноте, за прибрежными кустами, подобрался к своему огороду, юркнул под нижнюю жердину и, зайдя со стороны поскотины, постучал в крайнее окно. Голову сильно кружило. Он присел на завалинку, так и не поняв, услышали его или нет: сил не было совсем.

Дарья учуяла больше не ухом, а сердцем этот слабый стук, вскочила и, как была бо-сой, простоволосой, метнулась в

сени, уже не ошибаясь, кого увидит за дверью. Потом увела его на повесть и, отпаивая молоком, верила и не верила, что вот он, рядом, — грязный, измученный, с незнакомой болью в воспалённых глазах, разъединственный, живой.

Она помнила, как тогда принялась было выпрашивать, что да как с ним приключилось, но Степан остановил её:

— Где был и что видел — страшно то и вспоминать. Не выпрашивай боле ни о чём. Только вот что я скажу тебе, Дарья, — сильно, видать, мы Господа-то прогневили, коль Каинов из нас он сделал...

Она не лезла больше с расспросами, лишь долго ещё укрывала его от посторонних глаз, пока новая власть насовсем не укрепилась повсюду.

Вернулся домой Михаил, не похотевший, как и многие казаки, уходить с Дутовым в чужие земли. Злой, истощавший, заросший до самых глаз бородой, он скупко поведал, как держали их под арестом, сначала свои, а потом красные, и подвёл под этим черту:

— Всё! Навоевался по самые ноздри! Тепери ни за красных, ни за белых — сам по себе буду! Пускай без меня разбирают, кто на земле нынче хозяин, а я не верю более ни тем и не другим.

— Как же без веры?

— А вот так! Я там пока в холодном бараке сидел, много чего передумал и решил, что чужим умом долго не прожить. Все их призывы — и комиссаров ентих, и наших казачьих офицеров — суть одно: власть получить над народом!

— Стало быть, все черти — одной шерсти, — усмехнулся в ответ Степан.

— Так оно, братуха. Из грязной воды никто ишо чистым не вышел. А то, что творится тепери и с той и с другой стороны, чистым не назовёшь.

— Понятно, что прежней жизни уж не бывать, а как новую строить, покамест тож неясно.

— А голова, Степан, не для фуражки лишь дана. Будем думать, работать на земле — проживём! Только б быстрее эт антихристово братоубийство закончилось.

Степан внимательно взглядывался в младшего брата, думал: «Повзрослел. Муж стал. Да и то сказать, нонешняя-то жизнь всех другими сделала». Закурив, он перевёл разговор на своё:

— О Пашке ни слуху ни духу. Може, уж и пропал где, шалопут. Дарья всё о нём молит. Ругает и молит, ругает и молит каждую ночь.

— Дак он с Плешивцевым Гаврилой как убёг, так и есть. Тот у красных командиром издался,

а племяш при нём. И вроде как в комиссары вышел, идейным стал.

— Откудова сведения? — Степан весь напрягся. — Сказывай! Сам, штоль, встречался с им?

— С глазу на глаз — нет, а на отсидке со стороны наблюдал, как оне в красные конники нашенских казаков вербовали.

— Почто ж не подошёл?

— Ты, Степан, от горя-то, видать, совсем мозгами поехал. Да ежели б я подошёл, дак мне одна б дорога и была — к ним, а не до дому. А наш-то — орёл! Так и строчит словами-то за свободу, братство и прочая. Все, видать, коммунякские их лозунги изучил.

— Шут с имя, с лозунгами-то. Мне б знать, сколькими казачьими головами он руки свои обагрил, паршивец...

— Придёт — узнаешь. Если, конечно, нас с тобою во враги не запишет.

## Глава 11

Павел, мобилизованный по ранению, вернулся к концу войны. Подавшись в плечах и в рост, он теперь сильно напоминал своего деда по матери. И не только внешним сходством: так же крут был и в словах, и в поступках.

Заявился он неожиданно, застав врасплох родню, не готовую

к этой встрече. Пока шёл от ворот до крыльца, вся семья высыпала во двор и молча смотрела на незнакомого, в длинной, до пят, суконной шинели, сильно изменившегося Пашку. Никто не кинулся к нему навстречу, не проронил ни слова, а он смотрел на них прямо, твёрдо и тоже молчал. И молчание это могло означать только одно: одни ничего не забыли и не простили, другой считал себя правым. Наконец подал голос дед Пётр Ильич:

— Ну, заходи, коль отвоевали. Гостем будешь.

— Вона, значит, как! А я по дурусти своей думал, что домой вернулся.

— Насовсем аль в отпуску?

— Да уж как получится. Вижу, что не шибко ко двору-то прихожусь. Вижу, радые вы мне очень!

— А ты не выкобенивайся с порога-то. Заходи, коль пришёл, да веди себя по-людски! — подал голос Степан.

— Да нет уж, тятенька, спасибо за тёплый приём, за родительскую ласку! Найду, где голову приклонить, и без вас!

Дарья подалась вперёд и, гневно глядя на сына, заговорила громко, не сдерживая себя:

— Гляжу, обычаи наши тебе уж и не в нравь! Зашёл, как ба-сурман, креста святого на родной дом не положил, не поклонился отцу с матерью, а ругань

уж затеял! Сбежал, словно тать ночной! А сколь мы горя из-за тебя приняли, ты знашь? Отца в распыл из-за тебя чуть свои же не пустили. Грех тот — на тебе!

Павел не дослушал мать, насмешливо перебил:

— Эт кто ж у вас свои? Не те ли, кто с вашим атаманом к китайцам, как побитые собаки, сбежали?

— Дождались сына, мать! Не напрасно ты за него денно и ночью здравия у святых лик выпрашивала — эвон какой здоровый вернулся, прям загляденье одно! — Степан в сердцах развернулся и пошёл в дом.

— Вот и повстречались! — Павел резко дёрнулся в сторону. — Прощевайте пока, родственнички! Свидимся ишо!

На следующий день Бельтюковым донесли, будто Павел встал на постой к вдове Колмыковой, у которой муж и сыновья сгнули на войне. Терзаясь догадками, Дарья отозвала старшую Танюшку в сени, спросила напрямую:

— Впомни-ка, не с Санькой ли Колмыковой Павел на вечёрках отплясывал?

— С ней, мама.

— Вот оно что! Вспомнил занобушку свою. И она, значит, не забыла, и мать её его приняла. Да и то сказать, казаков-то в доме не осталось, так что Пашка наш ко времени им подвернулся.

— Что ж, мама, он теперь у них и будет жить? — полюбопытствовала Танюшка.

— И думаю, что не на постое вовсе, а примаком...

Вечером, о том же разговаривая со Степаном, удивила, сказав ровно, как о чём-то отболевшем:

— Дак оно и к лучшему, отец. Всё равно он отрезанный ломоть. Главное, что живой вернулся...

— Живой, конечно, — отозвался Степан, — а поперёшным он с самого малолетства был, не свернёшь! Но всё одно как-то не по-людски вышло.

— А злой-то какой, что цепной кобель. Я вот думаю, он с комитетчиками нашенскими схлестнётся да вместе с имя сгальничать зачнёт, не дай Бог.

— Что будет, то будет. Мы ему, мать, теперь не указ. Вишь, как смотрел на нас: нету в ём вины перед нами и не будет. Их власть верх взяла — их и порядки. Людские б только...

Узнав о том, где «прописался» внук, Пётр Ильич не стерпел и пару дней спустя отправился в ту сторону, вроде как по своим делам. Он подвернул к дружку, что жил напротив колмыковского дома, и, вместе с хозяином устроившись на завалинке, вытащил кiset. Вскоре из ворот, держа под уздцы запряжённую лошадь, показался Павел. Не поднимаясь, Пётр Ильич окликнул его через дорогу:

— Здоров!

Павел молча кивнул деду.

— Как жизня-то?

— Терпится, — с вызовом бросил внук.

— Ну-ну. Что ж, здесь и будешь проживать аль одумаешься да домой придёшь?

Павел оставил лошадь и, перейдя дорогу, неулыбчиво, в упор, посмотрел на деда. И вдруг, помимо его воли, что-то ослабло в груди: «Постарел-то как. Недужливый видом стал». Но, преодолевая сиюминутную жалость к деду, дерзко отмолвил:

— Ожениться вот хочу! На Саньке! Как, подходит вам така невестка?

— Дак я полагаю, что тебе нашего дозволения и не требуется. Эт ты так, для форсу спросил, штоб, значит, покобениться передо мной, стариком.

— А как хошь, дед, так и думай. Домой не пойду, потому как перед всеми вами я вроде виноватый. Проживу! Руки-ноги целы — чего ж ишо-то?

В голосе Павла слышалась обида.

«Зелен ишо, — поглядывая на внука, подытожил Пётр Ильич, — хочь и руки стали жилистыми, и в плечах раздался, а всё одно ишо не окреп духом-то».

— Дурак ты, паря! Как мать за тебя молилась кажную ночь, так эт видеть надо было!

— Не верю я больше в вашего бога!

— От как! А в кого ж веришь в таком разе?

— Не в кого, дед, а кому. Партии большевиков верю, товарищу Ленину верю. Слышал про такого?

— Как не слышать? Наслышаны. И... навидены. А насчёт женитьбы — тебе жить, ты и выбирай! Колмыковым помочь тепери нужна: без мужеского глазу и рук трудно им приходится, ясное дело.

— Вот и стану им заступой!

— Ну-ну, — Пётр Ильич поднялся. — Домой-то захаживай, не отрывайся. Мало мы за тебя натерпелись, дак ишо давай подбавляй, щекочи нервишки-то.

И, не прощаясь, пошёл прочь.

«Да, недужлив, — глядя на его птичью походку, опять подумал Павел, — недолго, видать, осталось землю топтать. А ведь хорошо с ним в детстве-то было...»

— Зайду как-нибудь, — послал он вдогонку, — к тебе зайду.

Старик обернулся:

— Пошто ко мне лишь, ко всем заходи. Двери у нас для тебя не заперты, все радые будут, коль по-людски придёшь.

А потом всю дорогу до дому довольно покряхтывал: «Ещё пуще Дарьина-то кровь в ём проступила. И такой же горячий, неуступчивый, как Пётр Николаевич. В Кашиных, в них вышел — всем взял казак!»

Услышав о Дарьином нездоровье, приползла проведать заикадичная подружка Катерина Спиридонова. Кряхтя, с трудом забралась на крылечко, окликнула:

— Есть кто дома аль нету?

Дарья узнала её по голосу — грудному, тёплому, ставшему с годами чуть глуховатым.

— Заходи, Катерина, будто не знашь, что тут тепери безвылазно из конуры одна собачонка облезлая живёт, — обрадованно отшутилась Дарья.

Катерина подошла к кровати, обняла подругу, прикоснулась к щеке:

— Во, до чего дожили, подруженька: ноженьки не ходют путём.

— И глазоньки не видют, — подхватила Дарья.

И, не отпуская от себя Катерину, быстро провела по ней рукой:

— Поправилась-то как — мягкая вся. Право слово, плюшка сдобная.

— Ох, набираю, Даша, и набираю, удержу нет. И с чего прёт, незнамо. Ем, что курица клюёт, — по зёрнышку в день, а вот надо ж. А ты, напротив, высохла вся.

— Да-к и хорошо, легче гроб-то будет, не надсадутся выносить.

— Ну, запела! Поживём ишо



маненько, куды туда-то торопиться? Успеется затылки претъ. Ты-то как? Сноха сказывала, будто задохливой стала, — и, не дожидаясь ответа, перескочила на своё. — Я ить тожа. Ноченька-то тепери одна не приходит, маяту с собой ведёт: тут болит, там ломит.

— А помнишь, какими кобылками-то были? — Дарьино лицо просветлело. — За день ухайдакаешься на работах, а как солнышко на закат, ноженьки сами на улицу несут. А там уж парни гуртуются, поджидают. Василий твой, от гармонист был! Куды с добром! Словно живая под пальцами у него гармонь-то была.

— А твой — шутник да плясун! Выделявал ногами немислимое прям.

— Ну, вот и вспомянули милочек своих.

— Что не вспомнить-то их? Добрые казаки! Мой, правда, горяч был не в меру. Что не по его, закипит враз, а то и руки распустит. Что было, то было, чего уж скрывать тепери, — Катерина посмотрела на Дарью, спросила: — А за твоим такого вроде как не водилося?

— Чего такого? Штоб бил? За всю жисть ни разу руку на меня не поднял. А ведь, признаться, бывало за что. Норов-то у меня, сама знашь, крутой, неуступчивый.

Катерина оживилась:

— Мы как-то с бабами на лавочке присели, вспоминали прежнее и довспоминались до вас со Степаном. Помнишь, как он тебе бороду от шелухи убирал? Сидишь, бывалоча, на завалинке, щёлкаешь семечки, а шелуху ловко с губы вниз сталкиваешь, так что борода из неё получается. А Степан подойдёт, молча смахнёт её да ещё волосья тебе под платок заправит.

— И молча отойдёт, — с лёгким смешком подхватила Дарья, — а я кобенюсь, вроде и не заметила ничего.

— Красоту твою ценил Степан, вот что. Ты и тепери, хочь и сухая вся, как прошлогодний сухарь, а всё одно красовитая ликом-то по сию пору. За тою твоєю красовитостью тебя старики и выбрали соль-хлеб царю молодому преподнести. Помнишь ли? Злилась тогда атаманова дочка, что не ей то дадено было, а урядниковой дочери Дашке Кашиной. А лицо-то ейное помнишь ли? Мухи всё усидели, конопатая вся была. А тебе — честь! Ишо какая!

— Нашла красоту! — не без удовольствия отмахнулась Дарья, вспомнив то далёкое, когда, боясь поднять глаза, трясущимися руками протягивала хлеб-соль молодому царевичу Николаю, что проездом заглянул к оренбургским казакам.

Отмолчалась, вспоминая то

давнее, уже почти забытое. Катерина сейчас не напомнила б, так и не вспомнила уж. Подивилась: было — не было ль то приключение? И вернулась к тому, что никогда не отпускала из сердца:

— А Стёпушку я ценила. За добрую душу, за рученьки его мастеровые, за то, что жалел меня, а более всего за разумную головушку. Сколь парней за мной ухлёстывало, сама знашь, а погляжу на какого — вёрткий балабол, иль хвастун, иль ишо чего. А Стёпушка слово скажет — всё к месту, всё, как и надо, да и с шуткой доброю. А на коне как сидел — лёгкий, подбористый, а как на смотрах лозу зачнёт лихо рубить — засмотришься, шашка так и сверкает на солнце, так и сверкает, ажно в глазах рябит!

— Ох, подруженька, — смеясь, перебила её Катерина, — каждый карась, понятно, своё болото хвалит. Ничего плохого про твоего Степана не скажу, но только мой Василий не хуже на коне скакал, а може, и лучше ишо!

Но Дарья словно не слышала подругу, продолжая своё:

— И характер мой терпел, знал, с какой стороны подойти, а потом смотришь — по его и вышло! И всё спокойно, с улыбочкой да прибаутками. Ладили мы, конешно, из-за него.

— И пожили вместе долгонько, не то что мы с Василием.

Почто он тогда на пули полез? Уж лучше бы совсем без штанов остались, зато жив бы был...

— Сколь лежит-то он, бедовая голова?

— Да уж ничего от него должно не осталось, в тридцатом ушёл. Тогда ведь, не помнишь уж, чать, раскулачивать с нас зачили. Вот он первый и вступился за своё добро, да и лишился всего вместе с жизнью.

Ещё долго они тревожили себя дорогими сердцу воспоминаниями, выживая из глубин памяти давнее, бесценное, прожитое. Разменяв по девятому десятку, обе явственно ощущали ту конечную грань жизни, что быстро и неотвратимо приближалась и за которую они скоро шагнут навсегда, воспринимая это как данность, как естественную разумную справедливость, определённую Свыше. Порядком устав от жизни, они перестали реагировать на неё, как прежде, и всё, что происходило теперь вокруг, оценивалось ими не иначе, как благополучная бестолковая суета, к которой они не имеют никакого отношения. И желания. Это была уже не их жизнь...

И чай, вскипячённый по их просьбе на электроплитке старшим внуком Пашкой, попили с карамельками, и день побежал на вторую половину, а подруги не торопились расставаться.

Нечасто так вот удавалось побеседовать. Да и разговор вышел душевный, очень свой и понятный обеим. Катерина поднялась, когда мимо окон промелькнула Нюра, прибежавшая покормить обедом свекровь и детей.

— Засиделась я, пойду. Мои, чать, меня уж потеряли.

Она не сразу, с трудом, подняла своё огрузившее тело, оперлась на длинную, отполированную до блеска её же руками палку:

— Вот, без клюшки уж не могу тепери. Клюшка — моя подружка! А ты как же передвигаешься, Даша, без глаз-то?

— А всё больше рукой по стене. Дотронусь и вроде как вижу, что где кругом. Всё ить родное, знакомое. А до уборной внуков прошу. Ничё, водют, не брезговают, не отказывают бабке!

Катерина, как и при встрече, опять прикоснулась к Дарьиной щеке:

— Прощай, подружка. Хорошо погостилась возле тебя. А ты не расквашивайся больно-то. Господь сам знат, кого когда прибрать.

Дарья отыскала её руку, слегка жала в своей:

— Ты забегай. Мы ведь с тобою на всю Кабанку одни трухлявые-то такие остались.

— Сказанула — забегай! Ноги-то что костыли стали, не набегаешься на них уж. А и ты зашла б.

Вона Пашку попроси, тихонько тебя и доведёт.

Дарья чуть заметно кивнула, подумала: «Не в остатний ли раз повстречались мы с тобою, подруженька моя задушевная?» И после её ухода как-то враз ослабла, ощутив мелкую дрожь в руках и коленях. С досадой незнамо кому выговорила: «Пересидела, видать-то, с разговорами. А Катерина ишо молодец, шевелится, хоть всего на годок помоложе и будет». Она отказалась от супа, сославшись на то, что с Катериной чай недавно гоняли, прилегла, натянула на ноги стёганое ватное одеяло, отвернулась к стене и под дружный стукоток внучатых ложек вспомнила совсем другое.

Как выжили в те голодные годы, Дарья удивлялась и теперь. Сначала в двадцать первом, когда война уже откатилась с их земель, собрав богатый урожай из молодых здоровых казаков. Поля остались чуть не вполонину незасеянными, и не только из-за нехватки рук. Проклятая продразвёрстка отнимала всё. Стадами угонялся скот на Увелку, и там, в ожидании погрузки, на железнодорожной станции ондох от голода. Об изъятии лишь излишков зерна давно и прочно забыли — выгребали всё подчистую. И то, что особо сберегали для посева, забирали тоже. И сейчас, через столько лет, слышала

Дарья отчаянные бабы причёты: «Господи, за каки таки грехи так страшно наказуешь?»

Помнила и то, как горячо повторяла вместе со всеми за батюшкой в церкви слова, звучащие горькой мольбой, так и не принятой Богом: «Возврати русскому народу разум и сердце, кои Ты отнял у него, когда захотел наказать. Усердно молю Тебя: да воскреснет Бог в сердце и уме русского народа, и да расточатся врази его!»

Будто нечистая сила помогала тогда этим кишкодавам с винтовками и красными лентами на шапках: два лета подряд солнце палило так, что продыху не было, и на полях поднимались колоски всего в несколько вершков, да и те за несколько дней пожирались полчищами незнамо откуда взявшейся саранчи. После их отлёта поля стояли чёрными, как и не засевали их вовсе. И с сеном для оставшейся скотины сильно бедствовали: покосных трав почти не было. Сшибали кой-где по низинам в лесу, но на всю зиму не хватало. Ели тогда почитай то же, что и скот, — лебеду, мякину, жмых. Лепёшки пекли из дикой конопли и гнилой картошки. Очистков не было: всё съедали. Говаривали, что в некоторых семьях, прости Господи, и печёным конским навозом не брезговали, лишь бы натолкать чем ни то голодные

животы. И помощи, как в прежние годы при царе бывало, ждать от новой власти даже в голову не приходило. В те годы и ушла свекровь Ксения Алексеевна. Дарья легонько перекрестилась: «Царствие ей небесное, добрый человек была, незлобивая, заботливая». Вскорости и Пётр Ильич преставился. Помнится, выдал замуж свою любимицу — внучку Танюшку — и отдал Богу душу.

А второй раз голодали, когда колхозы стали создавать. Власти тогда не стеснялись, под одну гребёнку всех стригли, хотели, чтоб толпами в колхоз вступали. Она и сейчас хорошо помнила те лишённые покоя дни, когда активисты ходили по домам, собирали подписи за колхоз, угрожали, мол, кто не подпишется, того будут считать врагом Советской власти. Но всё одно не все подписались, не хотели в ярмо лезть. Их тут же зачисляли в кулаки, и разговор с ними был коротким. Немало семей, в том числе и подруга Катерина, лишились своих кормильцев, многих, обобрав до нитки, отправили в ссылку на Север и в Сибирь...

Вот тогда и наступил окончательный разор семьи Бельтюковых. Никто не думал звать их в колхоз: помнили давно уж разграбленную лавку, крепкое когда-то хозяйство и наёмных рабочих в страдную пору. И сослали б, как других, да тут неожидан-

но Павел вспомнил, что у него семья есть. Он так и прижился у Колмыковых и в те годы всю активничал, агитировал за колхозы. Упросил кого надо, чтоб не выслали, но дом и всё, что при нём было, отобрали.

Дарья задвигалась, плотнее укутала лежачие ноги. Уж сколь лет миновало, а всё одно, как вспомнит тот грабёж — холодная волна так и окатит с макушки до пят. Оставили им тогда молодую яловую корову да кое-что из одежки и посуды, а остальное грузили на их же телеги и увозили в общественный амбар. Помнила, что не в себе тогда была, с пересохшим онемелым горлом наблюдая за суетящимися комитетчиками, выносящими большой кожаный диван с высокой резной спинкой, венские стулья, кушетки, сундуки, зеркало в медной оправе, одеяла и громадные пуховые перины с подушками, расписные утиральники, двухведёрный медный самовар. Потом принялись за плуги, хомуты, дрожки — на них позднее председатель колхоза развезжал. А затем очередь и до кладовки с харчами дошла. Степан стоял рядом и побелевшими губами чуть слышно шептал:

— Пуцай хапают, лишь бы не упекли в Сибирь. Живы будем — ишо наживём.

— Не наживём, — Дарья взглянула на Степана невидящим взглядом. — Не дадут...

— А Павла нет с имя.

— Ну, ишо бы он сюды припёрся, нехристь окаянный.

Он пришёл поздно вечером, хмураясь, обвёл взглядом голые стены, малолетних братьев на полу под старым тулупом, с хрипотцой выдавил из себя:

— Совет мой вам — переезжайте на Горшенинский хутор, да не всем гамузом, а по отдельности штоб жить. Пусть дядя Михаил и дядя Иван в другое какое место уезжают. Более вам ничем помочь не смогу.

— Да уж и на том благодарствуйте, что живы остались, — Степан снизу вверх смотрел на сына. — Гляжу я на вас и дивлюсь: неужто людей зорить не жалко? Ведь своим ж горбом всё наживалось, не краденое ж! Пупы надрывали и отцы, и деды наши, штоб в достатке жить! А вы словно тати с большой дороги!

Дерзко усмехаясь, Павел смотрел в сторону:

— А лучше перекулачить, чем недокулачить! Так скорее все ровно жить будут, без богачей и батраков. Все равны и точка!

— А кто не захочет с вами ровней быть — с теми как же?

— А вот так, — Павел приподнял руку с вытянутым вперёд указательным пальцем, — пух и нету!

— Вот что я скажу тебе, сынок: страшна та власть, которая народ

за людей не держит. Ничего хорошего она не сможет сделать.

— Держим мы за людей народ, только не тот, кто на мягком спит и сладко ест.

— Да к я с твоей матушкой всю жисть на мягкой перине проспал, той, что она по пёрышку сама собрала, как и всё, что в этом дому было нашим потом полито! Так что ж, мы, по-твоему, на человечью жизнь правов не имели?

— Хватит, отец! — Павел быстрым скользком глянул на отца, и в этом мимолётном взгляде было что-то такое, что остро ткнуло в самое сердце Степана. — Я всё сказал! С утра съезди на хутор, присмотри там местечко, и переезжайте. Да вот что, — он на мгновение запнулся и, преодолевая себя, негромко закончил: — Плешивцевых предупреди: Гаврила не сегодня-завтра наведаться к богатым родственникам собирается...

Он заметил, как переглянулись мать с отцом. Степан понимающе кивнул и, возвращаясь к своему, горько сострил:

— Да к на чём прикажете ехать, Павел Степанович, коняку-то нашего свели на ваш скотий двор. Пропадать, видно.

Тот не ответил, крутанулся и вышел, звезданув дверью. От сильного хлопка Дарья вздрогнула, повернула к Степану наполненные горькой влагой глаза:

— В кого такой? Неужто и вправду верит, что так-то вот оне смогут народ к себе развернуть?

— Не знаю, мать, но только чую, что нелегко ему всё это даётся. Видно, грех с добром перепутан в человеке...

— Може, опомнится ишо?

Степан ласково глянул на жену:

— Давай пристраиваться к ребятишкам. Жисть-то не окончилась, вона сколько их у нас с тобой сопит...

Они перебрались, как и советовал Павел, на хутор и принялись обустраиваться. Сложили из земляных пластов балагашек близь Кабанки, к нему пристроили сараюшку для коровы, загородили небольшой огород. И, по негласному сговору, вслух старались не вспоминать прежнюю жизнь — не рвать чтоб сердце. Так и зажили новой для себя жизнью.

Дочери Танюшка и Нюра, к тому времени уже вышедшие замуж, жили на ближних приисках, тех, что позднее объединят в город Пласт. Младшая дочь Дуняшка переехала к молодому мужу в Поляновку и вместе с ним пошла в колхоз. С ними оставались лишь сыновья. Старшему из них — Петру — годков восемь-девять было, за ним шли Александр с Алексеем, а младшему — Ивану — и трёх ещё не минуло.

А скоро на хуторе организовали сельскохозяйственную коммуны, и судьба преподнесла им ещё одно испытание. Их опустевший дом в Кабанке раскатали по брёвнышку, перевезли сюда и собрали из него длинный барак. Поначалу в нём устроили ясли для коммунарских ребятишек, а после поселяли семьи — одна комната на семью. Помнится, Степан то место так всю жизнь и обходил стороной... И лишь после войны позволили они отстроить небольшой домишко, сразу записав его на среднего — Алексея, что работал в колхозе.

### Глава 13

Лето покатило на вторую половину. Уже не припекало, как раньше, с самого утра, и ночи стояли свежие, с густой ясноглазой россыпью звёзд на тёмном бархате неба, к рассвету затягивая Кабанку густыми молочными клубами.

На подкашивающихся ногах Дарья выходила во двор теперь только по нужде и опять возвращалась на кровать. Слабость с липкой холодящей испариной по всему телу нарастала день ото дня, и с этим ничего нельзя было поделать. Она сердилась на сына и сноху, когда те приставали к ней с едой, и зябка куталась в старенькую, огромных размеров шаль или просила надеть на ноги

вязанные из овечьей шерсти высокие носки.

Вечерами прибегала проводить Дуняшка, жившая недалеко в Полянковке, приносила пышные шаньги, до которых Дарья всегда была большой охотницей, но теперь чаще лишь подносила к лицу, втягивала в себя запашистый, с кислинкой, дух, хвалила дочь:

— Лучше всех ты, Дуня, их пекчи умеешь — переняла от меня, не то что Танюшка с Нюрой.

— Да ты поешь, мама, хоть кусочек, пока свежие.

Чтобы не обидеть дочь, она устало обещала:

— Пусть чуток очерствеют, штоб изжоги не приключилось, а завтра утром с чаем и поем.

Часто приезжала и Нюра, привозила таблетки от сердечного трепыхания, смешила всех анекдотами и беззлобными шутками — находчивая на язык была в отца. Да только бойка очень, уж точно не в него, смешливого, но спокойного. Татьяна приезжала реже. Оно понятно, восьмеро ребятишек да сами с Фёдором — вот тебе и круглый десяток! Не набегаешься больно-то от такого хозяйства. Она была любимицей и деда, и отца, потому как в их бельтюковскую породу вышла, сильно нашибая на Степана и лицом, и небольшим росточком. А в работе — что мать была, такая же

крутая, проворная, умелая. Да и детей нарожала целую кучу, как они со Степаном, одна из всей их семьи.

Алексей, живший дальше всех, бывал также нечасто, но приезжал по-доброму. А вот Пётр, хоть и жил рядом, на соседней улице, заходил для Дарьи обидно, и причиной тому была сноха Клава. Кто из них виноват, сама ли Дарья или больше Клава, но только не заладилось у них как-то сразу. Вот и сын с годами начал отдаляться. Заходил по делу к Ивану, за папиросой, между прочим, справлялся о матери и уходил, чаще даже не заглянув к ней в избу. А ведь с ним больше всех и хватила горюшка-то. Тогда, в то военное лихолетье, и сделались волосы белее снега, хоть и считали все вокруг их со Степаном счастливыми. Как же, все четверо сынов вернулись с войны живыми. Дарья вздохнула: «Конечно, для других-то оно так. Но только она и помнит, каких её сынов война проклятущая вернула. Повезло лишь младшему Ивану, не изранило его страшно, уберёт Господь. А этих...»

Лето в 41-м с самого начала вышло тёплым, с частыми скорыми дождичками, потому и грибы пошли раньше обычного и сразу густо. Дарья, любившая полакомиться грибными пельменями и

углядевшая, что люди уже несут из леса полные корзины сыроежек, собралась тоже. Выгнала в табун коровушку и побежала за речку к недалёким берёзовым колкам, потом и к дальним, чтоб не с пустыми руками возвращаться. Напластала в корзину, потом в подвёрнутый кверху фартук и перед обратной дорогой решила чуток отдохнуть. Привалившись спиной к прохладному, в шершавых тёмных рубцах стволу развесистой берёзы, с наслаждением вытянула загудевшие ноги, прикрыла глаза и... заслушалась той особой пахучей тишиной, какая бывает в лесу только в начале лета. Сама не заметила, как провалилась в сон.

Лёгкий смешок у самого лица мигом выдернул её из блаженного состояния. Дарья распахнула веки и совсем близко увидела женское лицо. Оно по-доброму улыбалось, но глаза, ясные, пытливые, смотрели на неё из своей бездонной васильковой глубины и, казалось, доставали до самого нутра. «Где я видела эти глаза?» — Дарья быстро поднялась и, привычно оправляясь, махнула рукой по фартуку, просыпая грибы.

— Ай, испугала я тебя, Дарья? А ведь мы с тобой знакомцы.

Дарья лихорадочно пыталась вспомнить, откуда она знает эту нездешнюю, непонятного возраста странницу.



— Верно ты подметила, что я странствую.

Дарья оторопела:

— Ты что ж, мысли мои знаешь?

Опять раздался лёгкий, приятный смешок:

— Я много чего знаю, казачка Дарья! Как здоровье-то твоё? Не бьёт падучая?

Будто пелена спала с Дарьиных глаз:

— Что ж ты тогда так быстро убежала? Не успела и поблагодарить тебя как след. А травки твои помогли, спаси тя Христос, как рукой напасть сняло.

Она смотрела на свою спасительницу, припоминая давнюю их встречу, и с удивлением отмечала, что та почти не изменилась:

— А ты как будто всё в одной поре. Не берут тебя годы вовсе.

Странница опять тихонько засмеялась:

— С Божьей любовью и охранением хожу по земле, вот они и не дают увянуть.

— Може, зайдёшь, погостишь у меня, радая буду. Да зовут-то тебя как, кого перед Богом благодарить?

Странница пристально взглянула на Дарью, и той опять казалось, что её прожигают насквозь; покачала головой, отказывая:

— Раньше приняла бы твоё приглашение, но сейчас... некогда мне гостевать, идти надо,

весть людям нести. Тяжёлую, недобрую. Да помочь...

— Об чём эт ты? Пугаешь! — Дарья сразу поверила ей и сейчас напряжённо ждала ответа.

— Скоро, Дарья, не меня пиროгами угощать будешь, а сынов своих на прощание.

— Да об чём ты, право слово, почто провожать-то их?

— Не торопись, узнаешь скоро.

Она легко, без натуги, подняла из травы дорожный посох, котомку и, выпрямляясь, добавила:

— Не бойся ничего, вернутся к тебе твои сыны. Все. Только молись за них, как ты всегда умела — с распахнутым Богу сердцем, с верой, с надеждой, и Он тебя не оставит.

Затем, останавливая Дарьины расспросы, подняла руку, перекрестила и, неспешно огибая кусты вишняка, пошла прочь.

«Не идёт — плывёт. И величается будто, а и проста», — Дарья смотрела ей вслед, а потом, словно полоумная, бежала домой, веря и не веря в то, что произошло с ней в лесу. Хотела сразу рассказать Степану, но что-то необъяснимое удерживало её. Да и о чём рассказывать? Как-то мутно и непонятно говорила странница — не получится у неё вразумительно Степану передать, а уж тем более другим. Оконфужится только...

А через несколько дней пришла в Кабанку страшная весть — война. И опять с германцем.

Павел собрался сразу, как объявили о войне. Приехал прощаться поздно вечером вместе с женой Александрой, такой же, как он, высокой, статной, с приятным чистым лицом. Присел к столу под божничку и, ни на кого не глядя, глуховато произнёс:

— Ухожу вот завтра.

— Что, и приказ уж вышел?

Павел досадливо ёрзнул:

— А чего дожидаться? Сам пойду!

Он раскрыл портсигар, протянул отцу:

— Посмоли фабричных.

— Я свой, он привычней, — не принял подарка Степан и достал кисет.

Помолчали, не зная, как продолжать разговор. Дарья поднялась, засуетилась у посудного шкафчика:

— Не надо, мать, — остановил её Павел, — вечерили уж.

Она послушно опустила руки, присела около него на лавку:

— Что так споро собрался? Погодил бы, пока не вызовут со всеми.

— Со всеми, не со всеми! — опять раздражённо вскинулся Павел. — Какого рожна мне дожидаться? Что, у меня семеро по лавкам остаются?

Александра мгновенно зарделась, опустила повлажневшие глаза. Резкие слова мужа в который уж раз заставили её устыдиться в том, что не прижили они с Павлом деток. Неродихой она оказалась, в чём, конечно, винила себя. Понимая, что ненароком уколол жену, Павел повернулся к матери, кивнул на неё и, вняв, произнёс:

— Ей вот, в случае чего, подмогните, одна ведь остаётся.

Услышав его слова, Степан зачем-то приподнялся с печной приступочки, на которой сидел, машинально скрутил «козью ножку» и впервые долго посмотрел на сноху:

— Чего уж там. С нами будет, присмотрим с матерью. Не думай — воюй спокойно.

И под благодарные всхлипывания Александры вопросительно взглянул на Дарью. Перехватив мужнин взгляд и словно насовсем примиряясь с сыном, она согласно попросила:

— Ты завтра-то заскочи перед уходом, соберу тебе что след в дорогу...

А потом всю ночь просидела за спицами, вывязывая на казачий манер двухпальные шерстяные варежки, — в них, не снимая, стрелять можно — тяжело вздыхала, вспоминая, что когда-то для Степана вязала, а теперь вот для сына... Сколь годов сердилась на него, сумасбродного, а

вот пришёл, попросил — и растопилась, ушла обида, как в половодье уносятся по Кабанке грязные льдины. Да и то сказать, что уж тут сердиться, когда под пули уходит. Не до обид стало теперь...

Алексею и Петру, бывшими погодками, повестки из военкома прислали в одно время. Провожали их шумно, всей роднёй. Нюра приехала с красными глазами — только что проводила на фронт мужа — и, увидев братьев, опять разрыдалась. Татьяна, попытавшаяся было её успокоить, тут же получила в ответ хлёсткое, обидное:

— Тебе-то хорошо, Федя твой при тебе будет!

Фёдор из-за увечья правой руки получил бронь и, будучи потомственным овчинником, теперь работал в Пласте в артели Серова, где вместе с подростками-допризывниками выделывал овечьи шкуры для солдатских полушубков. А Татьяна из обрезков шкур приспособилась шить для фронтовиков рукавицы и ушанки. Всё это Нюра знала, конечно, но не утихшая ещё горечь от расставания с любимым, с которым душа в душу прожила всего-то ничего, туманила ей разум. Татьяна не обижалась, лишь крепче обнимала сестру, приговаривая:

— А ты жди и надейся. Он у тебя вон какой орёл — сдюжит!

Степан вышел во двор. В закутке из гибкого ивняка, где держал рабочий инструмент, приломился на широкий пенёк, служивший ему сидением. На то, что творилось сейчас в избе, смотреть было невыносимо тяжело. Дома оставались ещё двое сыновей — больной туберкулёзом Александр и молодой Иван. С горечью подумал: «Не дай Бог войне затянуться, так и Ванька поспеет туда же». Постепенно в закуток перебрались все мужики. Сидели, дымили, рассуждая о последних известиях с фронта.

— Тять, а ведь ты никогда про свою войну не рассказывал. Всё больше мать, как к тебе ездила, — полюбопытствовал Алексей.

— А что про неё говорить? Воспоминания-то не из весёлых, цирков там не было.

И усмехнулся:

— Эт ты верно припомнил про мать-то. Только и было одно веселье, когда она нежданно-негаданно с проверкой нагрязнула да так полячку, у которой мы квартировали, до смерти перепугала, что та готова была по её лишь взгляду любой приказ исполнить.

Но Алексей не унимался:

— Мать рассказывала, что ранило тебя тогда не на шутку, вот она и не утерпела.

Степан взглянул на сына и, перебивая, заговорил негромко, но с той особенной, нечастой, мягкой твердинкой, означающей, как

важно для него то, о чём он сейчас говорит:

— Я вот что скажу вам, ребята. Хоть и не принято нынче казаками называться, но вы из того же роду-племени, с одного поля ягода. А это племя в лихие времена всегда поперёд многих шло оборонять свою землю. Когда-то и мне довелось, и дедам, и прадедам вашим — все крепко воевали.

Он никогда ни о чём таком не говорил с сыновьями и теперь медленно, с трудом выговаривал те самые слова, что лежали на сердце, но так трудно произносились вслух.

— И ишо вам скажу, как отец, ваш дед, провожал меня на первую германскую. Служи, говорит, так, штоб головы моей седой не опозорить! Вот и я вам на прощание сказать хочу: род наш казачий не опозорьте. Да в бою про главное не забывайте: коли ты врага не побьёшь — он тебя побьёт.

Ему никто не ответил, лишь ярче завспыхивали огоньки папирос...

— Видел, как мать вчерась крестики с божнички доставала, — прерывая затянувшееся молчание, несмело начал Пётр, — съмут ведь прям в военкомате.

Степан покачал головой:

— Не съмут и не отымут, ежели с умом. Это она вам ладанки изготовила с щепотью родной

земли и крестом, на защиту и на память, не забывали штоб, откуда вы, если что. Так издавна водилось у казаков.

И, дрогнув голосом, добавил:

— Так и меня в своё время провожала...

Во дворе военкомата и возле него разноголосно гудела большая толпа. Молодой военный звонким голосом выкрикивал фамилии призывников, и те, судорожно пробираясь к крыльцу, быстро исчезали за массивной дверью.

Бельтюковым долго ждать не пришлось. Фамилии на «А» выкликались недолго, и вот уже звонкий голос несётся к ним через галдящую толпу:

— Бельтюков Алексей, Бельтюков Пётр...

Оставшись без сыночек, Дарья заозиралась вокруг, пытаясь отыскать знакомых, и почти сразу обнаружила Татьяну с Фёдором, разговаривавших с его родственником по матери Василием Шуниным. Тот, обнимая привалившуюся к нему тяжёлую от слёз и выпирающего живота жену, уговаривал бодрым голосом:

— Глазом моргнуть не успеешь, как вернусь!

И, неловко размазывая мозолистой ладонью слёзы по её щекам, шутейно приказывал:

— А ты не теряй времени —

рожай. Да штоб сына! Поняла? Наследника штоб!

Но она, казалось, не слушала его, а молча, не отрываясь, смотрела и смотрела ему в лицо некрасиво распухшими глазами.

Вдруг за оградой, а скоро и во дворе заповзвизгивала гармонь, и сильный разухабистый голос запел: «Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ах, куда ты, паренёк, ах, куда ты, не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты». Народ задвигался, обернулся на голос, образовав вокруг коренастого крепыша свободное пространство. А он, не жалея, рвал старенькие меха: «В Красной Армии штыки, чай, найдутся, без тебя большевики обойдутся. А женился лучше б ты на Иринке, да и спал бы с ней, Ванёк, на перинке».

— Наш, кочкарьский, — улыбался Василий, — тракторист и лихой парень. Служить ему танкистом, как пить дать!

И вдруг, бережно отстранив жену, прыгнул к нему в круг, куражась, тряхнул плечами и, уперев руки в бока, пошёл вприсядку, сначала по-медвежьки ко-солапо, медленно, раздвигая круг, а потом легко и быстро выбрасывая вперёд ноги. Он плясал долго, неистово, приседая и опять лихо взлетая на ноги, яростно вбивая в пыль свою надёжную тоску по уходящей

мирной жизни, потаённый, не высказанный вслух, отчаянный страх за молодую жену, что носила под сердцем второго их ребёнка, и нежелание уходить от них, в ставшую неизбежной для него и для многих таких же, как он, пугающую неизвестность... Сменяя Василия, в круг вошёл совсем ещё молодой парень, к нему с разбойным свистом присоединился второй и с ходу бойко заработал ногами. Их окружили и молча смотрели. А они плясали так же ладно, с чувством, мастерски, с залихватской остервенелостью выплясывая всё, что не могли высказать вслух, лишь громким гиканьем подбадривая друг друга затверделыми губами...

Степан смотрел на эту очумелую, корчившуюся в горячечных муках расставания толпу через широкий проём ворот с улицы. Он так и не сошёл с телеги, сославшись на то, что постережёт собранные сыновьям в дорогу котомки, на самом деле боялся показать слабину. Опять, в который раз за последние дни, вспомнил отца, как тот, вот так же, как он сейчас, отправляя его и братьев на войну с германцем, прятал ото всех глаза и молчал. Кажется, только теперь и понял его. Понимал и то, что им, молодым, уходящим от родных очагов ради ратного дела, всё же легче, чем остающимся их дожидаться. А может, и не дожидаться...

Наконец над двором громыхнула команда строиться. Дарья судорожно притянула к себе сразу две головы, зашептала что-то невнятное. И, словно опамятавшись, позвала:

— Отец! Да где ж он?

Отцепившись от неё, сыновья кинулись за ворота и с разбегу ткнулись в отца, с трудом сползающего с телеги. Он так же, как мать, молча стрёб обоих в охапку и, через миг оторвав от себя, шутейно, как бывало в детстве, погрозил им кулаком:

— Смотрите у меня там, не балуйте! Не то задам горячего, когда вернётесь!

И, отворачиваясь на сторону, почти приказал:

— Идите с Богом!

Что стало происходить дальше, Дарья понимала плохо. Люди двигались, толкали, заставляя тоже куда-то двигаться. Вдруг чьи-то руки ухватили её за плечи, обернулась — Фёдор, зять, а рядом Танюшка, Нюра, Дуняшка, Ванюшка, все её детки.

— А где ж Петюшка с Алексеем?

— Да вот они, мама, вот.

Она подняла растерянные глаза, куда указывала чья-то рука, и увидела сыновей в кузове грузовика. Откуда они взялись? Из кузова что-то кричали, им в ответ кричали тоже, и никто в этом всеобщем надсадном

оранье, в котором ничего нельзя было разобрать, не видел рвущей душу бессмыслицы, изо всех сил стараясь расслышать родной голос и те последние, казавшиеся самыми главными слова. Освобождая дорогу, грузовики громко загудели и медленно выкатились за ворота. Люди кинулись вслед, плача, махая, опять толкая. Вырвавшись на свободу, машины резво покатали по короткой улочке, и уже ничего нельзя было разглядеть и услышать, только одни истошные причитания вокруг: надрывные, отчаянные, всепрощающие — прощальные...

Дарья, опершись на Нюру и с трудом передвигая ставшие деревянными ноги, вышла за ворота и, увидев Степана, не удержалась:

— Что ж ты, как будто и не попрощался ладом-то с сынами?

Степан, делая вид, что подтягивает на лошади подпругу, сипловато хмыкнул, прокашлялся и непривычно громко для всех произнёс:

— Ничего! Бельтюковы всегда удачливы были. Бог даст, и на этот раз минует нас горькая стезя. А ты, мать, — он скользнул по ней быстрым взглядом, — ожидай да молись за сынов получше.

И этого краткого всплеска хватило Дарье, чтобы разглядеть то бессильное горькое отчаяние,

что наполняло его сейчас, старательно скрываемое ото всех и от неё тоже. Усмиряя всколыхнувшуюся было обиду, она отозвалась тихим эхом:

— Будем ждать, отец. Только то и осталось. Не у нас одних, у всего народа нынче беда...

## Глава 14

Война возвращала им сынов в том же порядке, что и забирала. Первым пришёл Павел. Как и в Гражданскую, служил по политической части, но вскоре выяснилось, что не только словами укреплял он дух бойцов, и после четырёх ранений и двух контузий был подчистую комиссован ещё задолго до окончания войны. Родные насчитали на его теле шестнадцать следов от пуль и осколков, а на некогда породистое мужественное лицо без боли смотреть было невозможно: стянутая левая половина уродовала его до неузнаваемости. Плетью висела и рука. Прощённый родителями, он вернулся к ним, решив не обременять молодую и красивую Александру своей немощью. На расспросы матери недовольно отмахивался:

— Не до баб мне. Выкарабкаться б да пожить чуток, — и, видя её недовольно поджатые губы, с усмешкой добавлял: — Да и не венчаны мы, значит, по-твоему, в грехе жили. А мне

не грешить, а просить Его о здравии надо.

С отцом он был более откровенен:

— На здоровую кобылку сила нужна, а какой я сейчас мужик, смех один. Пусть сыщёт поздоровей да живёт по-людски. Она до мужской ласки охочая, может, и пожалела б поначалу, а потом изводила б и себя, и меня. Не хочу я этого.

И ведь верно угадал он её естество: к удивлению всей Кабанки, Александра не настаивала на возвращении Павла.

Дарья боролась за сына как могла, как умела, по старинке, отхаживая проверенными веками способами: отварами и мазями из целебных корешков. Разогрев в баньке, обкладывала раны распаренными же травами да, не уставая, молила Заступницу об исцелении сына. Ещё не окрепшего Павла вызвали в райком и, как испытанному партийцу, поручили возглавить одно из отделений Увельского колхоза. Собралась вся семья, дружно уговаривая его отказаться: работа-то была аховая, не по его силам. Но того было уже не остановить. Горячась и упрямо сдвинув брови, Павел возражал:

— Ништо! Долечиваться на ходу буду!

Матери приказал по-военному:

— Ты мне своих мазей наготовь, чтоб надольше хватило, —

и, усмотрев так же упрямо сдвинутые материнские брови, как мог мягче добавил: — В баньку с твоими травами буду по субботам наезжать.

Не долечился. Забрала его работа всего без остатка, и зимним февралём сорок восьмого года снесли их первенца, их неуживчивого упрямого Павла на кладбище.

Вторым вернулся Пётр. Каким чудом, её ли, Дарьиными молитвами, но не попустил Господь его, казалось бы, неминуемой смерти.

Под Брянском вместе с другими воинскими частями его стрелковый полк держал оборону и попал в окружение. Тогда часто в сводках передавалось о сражении на Брянском направлении. Затем сообщили, что после тяжёлых кровопролитных боёв часть наших войск была окружена превосходящими силами противника, но не прекратила сопротивления и с боями прорывается к своим. А попавшим в окружение был дан приказ уничтожить всю хозяйственную технику, орудия и выходить из окружения самостоятельно, отдельными группами. Много тогда бедовых головушек полегло.

Догадывалась ли Дарья, слушая те тревожные сводки, что и её Петюшка в том адовом котле погибает? Только каждую

свободную минуту поминала, просила у икон не забирать у неё сыновей. А там, на далёкой Брянщине, прорывались, затаиваясь в лесах и болотах. Осень уже отпестрела яркими красками и споро бежала навстречу зиме. По ночам землю прихватывал лёгкий морозец, с неба всё чаще и чаще сыпала жёсткая снежная крупа, и пожухлая трава сухо и обречённо поскрипывала под ногами уставших бойцов, разделяя с ними незавидную их участь.

Как-то отделение, в котором служил Пётр, получило приказ разведать, стоят ли немцы в небольшой деревушке, что располагалась недалеко от тракта, который им необходимо было пересечь. Выступили в полночь и до деревни дошли благополучно, но у крайней избы поднявшие истошный лай собаки быстро обнаружили их группу. Раздались гортанные команды, зажглись прожекторы, выхватывая из темноты фигуры бойцов. Отойти не удалось.

Бой был скорым: скудный запас патронов быстро закончился. Взялись за ножи, но немец валил и валил. Их смяли и отвели в небольшое деревянное зданье местной школы, а когда рассвело, начался допрос. Из взвода в живых осталось шестеро, двое — тяжелораненых. Этих пустили в расход сразу же. Остальных пытались о чём-то спрашивать,



но переводчика у немцев не оказалось. Зато подвернулась зондеркоманда. В одной из комнат, по виду учительской, приказали раздеться донага, лечь на сдвинутые столы и били вожжами и железными прутьями, пока боец не выпускал дух. Бездыханного, его выбрасывали через окно на выстуженную землю и принимались за следующего. Затем с немецкой педантичностью проверили, нет ли в этом кровавом месиве случайных живых, для надёжности полоснули каждого ножом по горлу и заторопились догонять своих.

Как только немцы скрылись из вида, деревенские бросились к страшной куче — может, уцелел кто — и сквозь ахи и причитания расслышали слабый булькающий стон. Это был Пётр. А на далёком Урале, в маленьком селце Кабанка, металась в постели мать. Вскакивала, снова ложилась и опять вставала.

— Что ты крутишься, Дарья, — Степан приподнял голову от подушки, — чего не спишься тебе?

— Душит что-то вот здесь, — она показала на грудь, — словно кто воздух перехватывает.

И повернулась к образам:

— С кем-то из ребят штот страслося? Чую я!

— Погоди, мать, не сепети шибко-то, — Степан опустил ноги, потянулся к кисету. — Давай самовар поставим, посидим,

вон уж светлеет за окнами-то. Да не каркай, не буди лихо, пока оно тихо.

С этого дня Дарья стала часто выходить на дорогу и подолгу стояла, всматриваясь в сторону Увелки, туда, откуда приходили с фронта эшелоны...

Петра унесли к себе двое одиноких стариков, устроили лежанку в закутке за печью, там, где обычно держат родившихся зимой телят. На их счастье, немцы пока проходили мимо по тракту, обходя их деревушку стороной. Пётр горел; лишь по тому, как иногда из страшной раны на горле с шумом и бульканьем вырывался тихий хрип, старики понимали, что сознание ещё возвращается к нему. Иссиня-красное опухшее тело покрывала лопнувшая во многих местах кожа...

— Не жилец, — помогая старухе промывать раны, твёрдо заявлял кряжистый старик, хозяин дома, — ить живого места на ём нету.

— Жилец, не жилец — то одному Богу известно. Зачем-то оставила его судьбина в живых. Всех порешили ироды, а этого не сумели.

— Да где там не сумели! Гляди, не сегодня-завтра преставится.

По щекам старухи текли слёзы:

— Ну, хоть схороним по-людски. А вот где наш Василёк лежит и каки дожди его косточки

моют, как ветры обдувают, мы никогда уж не узнаем... Что это такое — «пропал без вести»...

— И этот, должно быть, не старый. Руки, глянь-ка, не изработанные ещё, не корявые, — внимательно взглядываясь в истерзанное тело, произнёс старик. — Может, и ровня будет нашему.

А Пётр, вопреки всем предсказаниям, не умирал. Старики не отходили от него ни днём ни ночью, промывая раны травяным отваром да смазывая нутряным барсучьим жиром. Потом приспособились и кормить жиденьким, надев на бутылочное горлышко отрезанную детскую соску и просовывая её далеко за зубы. Уже в морозы он, наконец, смог открыть глаза и непонимающе, с усилием повёл ими по сторонам.

— Ну, слава те, Господи! Видишь нас аль нет? — старуха низко склонилась к его лицу. — Как звать-то тебя, болезный, помнишь?

Он помнил, но из горла рвалось одно лишь тихое шипение...

— Ничего, теперь оклемаешься помаленьку. Уж ежели такое пережил, — могучий старик подошёл к нему с мутноватой бутылочкой. — Давай-ка обедать будем. Бабка картоху тебе наботала, попей, сынок.

К весне Пётр настолько окреп, что самостоятельно мог выходить по нужде во двор,

прячась от недобрых глаз за дедовым меховым колушом и шапкой.

Однажды старуха, ходившая к колодцу за водой, принесла тревожную весть:

— К Лукьянихе родственник заявился, велел всех оповестить, что, мол, как отгадет совсем, трупы будем по округе собирать и захоранивать. Мол, немцы — народ чистый, культурный, не потерпит, чтоб зараза какая у нас завелась. Да и поинтересовался мимо делом, где мы солдат, что немцы по осени в школе допрашивали, похоронили, и всех ли...

Родственник был из соседней, побольше и помноголюдней, чем их, деревни и служил в полиции.

Советались, куда безопаснее определить Петра, — в баню ли, в подполье или на чердак. Остановились на чердаке. Около трубы соорудили ему лежак, отгородив от непрошеного глаза грудой всякого хлама.

А жителей и вправду вскоре погнали в поля и окрестные леса собирать трупы солдат. На стариков, возвращавшихся к вечеру домой, страшно было смотреть.

— Сколько ж их, родимых, головушки свои здесь положили, тыщи и тыщи, — жалобно причитала старуха. — А ить каждого их матери, жёны дома дожидают и не ведают, не знают, где нашёл последний час горемычный их...

Старик больше молчал, лишь курил и курил свой самосад, наполняя избу едким горьковатым дымом...

Однажды старуха прибежала от колодца с пустыми вёдрами и, с трудом переводя дыхание, выпалила:

— Немцы! С орудиями! За деревней около тракта встали, за водой уж приезжали.

Сморённая быстрым бегом, она повалилась с ног тут же у порога.

— Пора мне, — хрипя и сипя, с трудом выговорил Пётр, — загостил я у вас.

И, заметив, как всколыхнулся старик, добавил:

— В деревне все знают, что вы меня у себя прячете. Из страха кто и выдаст.

— Куда ж ты? Кругом куда ни глянь — немец проклятуший, — подняла на него повлажневшие глаза старуха. За долгие месяцы привязалась она к этому чужому парню, как к родному.

Старик, понимая опасность, не останавливал, лишь осторожно произнёс:

— Слышал я, что в гущах наших немало люда прячется, партизанят, значит. Ты покружи по лесу-то, может, и встретишь кого. А двигай всё время на восток солнца: немец-то к нам с захода припёр, так тебе в другую сторону. Удачлив будешь — выйдешь к своим.

Несколько дней, по совету деда, Пётр искал партизан, но неокрепший организм быстро начал сдавать, и он брёл, уже ни на что не надеясь, помня лишь одно: на восток. Из леса выходил нечасто, чтобы не наткнуться на немцев, а когда приходилось издали наблюдать за ними, его охватывал неодолимый леденящий страх попеременно со злобой — бессильной, жгучей, и он, подобно дикому зверю, забивался подальше в глушь, отсиживался, приходя в себя, часто не разжигая даже малый костерок. Иногда удавалось найти в поле полуистлевший, довоенный ещё стожок сена или соломы, и это было большой удачей — поспать в тепле. Постепенно он потерял счёт дням, сознание путалось, и ясным оставалась одна лишь мысль — идти на солнце. Съестное, выданное ему стариками, давно закончилось, и теперь он питался тем, что попадалось на глаза, — кисляткой, сытью, птичьими яйцами, потом пошли грибы и ягоды...

Он не отследил, когда и где миновал линию фронта, лишь через какое-то время скорее почувствовал, чем увидел, что немцев больше нет. Уже не таясь, вышел на дорогу и где-то шёл по-прежнему пешком, где-то везло, и его подвозили. Много раз останавливали патрули, но израненное и простуженное горло

лишь хрипло сипело. Он показывал широкий красный шрам на шее, что-то неразборчиво пытался объяснить — его отпускали, понимая, что пришлось ему пережить. Иногда какая-нибудь сердобольная впускала калеку в дом заночевать, выставляла скудный ужин.

Со временем Пётр перестал остро ощущать голод и уже не понимал, хочет он есть или нет. А ноги медленно, с великим трудом, по какому-то высшему намерению и провидению, упрямо вели и вели его всё ближе к дому, и к концу лета он добрался. Последних сил хватило только до Поляновки (стоявшей на полпути от Увелки до Кабанки), где и жила сестра Дуня. Она не сразу признала в ободранном, донельзя истощённом нищем родного брата, а признав, заголосила на всю улицу. Прибежавшая на рёв старуха соседка вовремя подсказала, чтоб не кормили его сразу много:

— Не то на тот свет спровадишь легко. Поначалу молока дай разбавленного, потом протоквашки или яичко. А через несколько дней уж и хлебушко можно, и картошки мятой. Да понемногу, как дитяти будто.

Опомнившись, Дуня засуетилась, быстро протопила баньку, с грехом пополам помыла заскорузлое лёгкое тело. Из бани Петра несли на руках: сил самому

дойти до крыльца уже не было. Наутро, выпросив на скотном дворе быка, Дуня впрягла его в лёгкую тележку, уложила в неё брата и повезла в Кабанку. В родительский дом вошла одна, оставив Петра в сенях за дверью.

— Что эт ты спозаранку примчалась, стряслось что? — Дарья озадаченно смотрела на дочь.

— Мама, тебе ничего не снилось сегодня? — подготавливая её к встрече, спросила Дуня.

— Петюшка пришёл?!

Отстраняя дочь, Дарья опрометью кинулась в сени и подхватила на руки оседающего на пол сына. Так и внесла его в избу — невесомого, беспомощного, непонятно молчащего...

Почему, вопреки, казалось бы, неодолимым обстоятельствам, не погибает и остаётся жить человек? Как наперекор всему преодолевает он непредставимые преграды и трудности и достигает цели? Дарья не задавала себе этих вопросов. Она видела перед собой сына — донельзя истощённого, бессильного, искалеченного — и, как недавно старшего Павла, кинулась возвращать его к жизни. А ночами тихо благодарила Заступницу, что сохранила ей Петюшку: она была счастлива.

Весть о том, что Пётр непонятно откуда вернулся домой, мгновенно облетела Кабанку. Но Дарья не допускала к сыну

никого, кроме родственников, — и то чтоб молча посмотреть на него через занавеску. Пётр слабо реагировал на происходящее, пребывая в полубредовом забытии, и открывал глаза, только когда Дарья просила его попить из бутылочки или оправляла на нём одеяло.

Степана обступали соседи, выпрашивали, а он ничего не мог им ответить, лишь раз за разом повторял:

— Выжил бы, смотреть страшно: скелет и больше ничего.

Как-то подошёл к нему мужик, служивший в милиции:

— Как у вас? Говорит чего? Откуда пришёл, почему?

— Не может он говорить. По шраму — так полоснули его по горлу. Видать-то, перерезали там всё, чем говорят.

Милиционер сочувственно помолчал, добавил:

— Не сердчай, Степан Петрович, но по долгу службы я обязан сообщить начальству. И так уж неделю молчу.

— Докладай, раз положено. Пусть едут, смотрют, может, ишо и успеют.

— Так уж плох?

— Дак краше в гроб кладут. Вот так-то, паря...

И приехали, расспросили, почитали письма Петра с фронта и, понимая, что больше узнать невозможно, поручили тому же милиционеру вести наблюдение.

Но молодость брала своё, и через несколько недель Пётр стал приходить в себя. Сначала выбирался на крыльцо, на последнее осеннее солнышко, с помощью отца, потом самостоятельно, опираясь на палочку. И в один из дней, к великой материной радости, попросил картофельных пельменей с солёными грибами.

Милиционер захаживал часто, расспрашивал, но по тому шипению, что вылетало из Петрова горла, трудно было что-то разобрать. Наконец, с помощью Дарьи всё же удалось составить общую картину, и из военкомата ушёл запрос о местонахождении бойца 310 стрелкового полка Петра Бельтюкова. А его самого до получения ответа на всякий случай — вдруг дезертир — поместили в пересылочный лагерь, что располагался в четырёх верстах от Кабанки в районном Кочкаре.

Дарья металась, как загнанный в клетку зверь: куда его такого, толком не оклемавшегося, на лагерную баланду?! Да ещё и в зиму.

Проводив Петра, Степан, не мешкая, отправился к Фёдору, старшему зятю. Тот, умея выделять и шкуры, и хром, был у местного начальства на особом счету. Но вытащить с их помощью Петра не удалось: кому хотелось подставлять свою голову за непонятно откуда появившегося бойца. А вот зятевы хромовые

сапоги помогли. За них уговорились с одним из местных охранников передавать Петру посылки с одеждой и едой.

Каждый день, не доверяя никому, бежала Дарья по лесной дороге в лагерь и там в условленном месте ждала охранника, чтобы передать ему ещё тёплую затируху, или три-четыре яичка с ломтём чёрного хлеба, или ещё какую немудрёную снедь. А в ночи подолгу простаивала у икон, горячо моля об одном:

— Господи, непусти...

Неизвестно, сколько из тех скудных паек перепало самому Петру, но когда, уже по снегу, в военкомат пришла бумага, что такой боец в Брянских сражениях пропал без вести, Петра домой опять везли на телеге. Скоро медицинская комиссия вынесла заключение: «Комиссовать по состоянию здоровья, с присвоением группы инвалидности».

Узнав, что брат дома, приехал Павел, привёз баклажку мёда и большую склянку с настойкой девясила. Посидел, покурил, передал матери наказ знахарки, как правильно принимать настойку, и засобирался, ссылаясь на то, что дел невпроворот. И по обострившимся, выпирающим из-под рубашки лопаткам, по нездоровой желтизне лица видела Дарья, как непосильна ноша, что взвалил он на себя. Но смолчала, не выговорила вслух, зная,

что начнёт перечить, вспылит да наговорит чего лишнего и будет упрямо делать своё.

А Пётр с весной пошёл на поправку, словно пробудившаяся и полыхнувшая черёмуховой кипенью земля придала ему сил. Подолгу сидел он на завалинке, греясь под янтарными лучами, ходил по двору, опираясь на палочку, и с усилием понемногу стал говорить. Сначала шёпотом, с одышкой, а потом чуть слышно, сишло, но в голос.

В одну из таких белопенных ночей вдруг, неизвестно отчего, Дарья встрепенулась и села на кровати.

— Чего ты? — сонно отозвался Степан.

— Не спится, проснулась как-то враз.

Она поднялась и заглянула в сени, где, уже на летний лад, спали сыновья. Петра на месте не было. Накинув шаль, Дарья вышла на залитое жиденьким светом крыльцо, постояла, с наслаждением ощущая, как сладкий пахучий ветерок коснулся лица, и подивилась ясной луне, что большим серебристым блюдом одиноко висела над селом. Она пересекла двор, почти не сомневаясь, куда идти, открыла калитку и тотчас увидела высокую фигуру сына. Опершись на изгородь, Пётр неподвижно стоял в конце огорода лицом к реке и, казалось, к чему-то прислушивался.

— Петюшка! — позвала тихо.

Он не ответил. Вдруг, совсем близко, из прибрежного тальника понеслись частые звонкие пощёлкивания. Они то умолкали, то вновь рассыпались мелкой ликующей дробью и, полоша сонную тишину, из-за реки откликались такими же звонко-раскатистыми переливами.

Дарья подошла, молча встала около сына.

— Заливаются-то как, мать! И раньше ведь слышал, а... — Пётр запнулся, подбирая слова, — а вроде как и не слышал. За душу так и хватает...

— Вот и ладно, пусть себе заливаются, — отозвалась Дарья. — Их дело птичье — летать да петь. Соловушки запели — верный знак, что самки в гнёздах на яйца сели деток выводить. Вот им, ещё не рождённым деткам, и изливают они радость свою.

— Хорошо как!

— Порядок жизни это, сынок. Порядок и смысл.

— А у нас, людей, почему не так?

— Так! Каждая новая жизнь в радости начинается. Придёт твой час, и поймёшь.

А внутри у самой всё так и ликовало: «Немощь немощью, а сердце-то молодое — ласки запросило. Слава те, Господи, тепери быстрее пойдёт на поправку, коль душою оттаял».

В 44-м вернулся Алексей. Мало чем краше Петра: исхудавший, психоватый, злой. Лицом в мать — красивее всех был из детей, а тут нижняя челюсть скобочена, правая рука на привязи, левой опирался на клюшку, подволакивая ногу. После бани Ванька, ходивший с братом, шепнул матери, что у Алексея ноги и спина в маленьких красно-синих рубчиках...

Собрались всей семьёй в родительском доме. Алексей говорил неровно (мешала сдвинутая челюсть), с судорожным мелким смешком и запинками. Рассказал, как их сапёрная рота разминировала проходы перед наступлением и не распознала хитроумной ловушки. Подорвалось сразу больше взвода.

— Я, выходит, в рубашке родился, с краю той ловушки оказался, выбросило меня в сторону. А тех, кто рядом был, — продолжал он с заметной заикливостью, — потом по кускам на плащ-палатки собирали. До сих пор закрою глаза и вижу, как дружка моего — Виктора — руки-ноги по траве, а я ничего не слышу, из ушей кровь хлещет, и боль по правой стороне огнём разливается...

Он осёкся, некрасиво повёл израненным лицом и, справившись, продолжал:

— А мы с ним на одной шинели спали, другой укрывались

и мечтали после войны жениться в один день да сыновей нашими именами назвать...

Затем неловко полез под гимнастёрку, достал маленький замусоленный мешочек на шнурке:

— Ладанка твоя сберегла, мать. И в том самом первом бою, когда в рукопашную пошли, тоже. Помню, бежал навстречу фрицу и думал: «Всё, каюк пришёл». Ан нет, уцелел как-то. Вот тогда и поверил и в Бога, и в ладанку твою.

— Божье блюдо всегда лучше человеческого, — тихо отозвалась Дарья и не выдержала, глядя на сыновей, всхлинула: — Что ж эта война проклятухая с моими детками сделала?!

— Ну, будет, мать, не гневи Бога. Все твои сыны за столом. Чего ж тебе ишо? — остановил её Степан. — А раны казаку положены. Как же без них, коль на бранном поле были? В старину говаривали: «Тот не казак, кто пороху не нюхал».

— Что-то ты, отец, про казаков часто вспоминать стал, — с ухмылкой, в которой легко угадывалась прежняя затаённая непримирённость с прошлым, бросил молчаливый до сих пор Павел.

— Как можно о себе забыть? — Степан с горьким сожалением смотрел на сына. — Хорошо б и вам о том не забывать, что казаки от казаков ведутся...

И повернулся к Дарье:

— Радость у нас с тобою сёдни, мать! Запевай ту, которой меня всегда встречала!

— Не сумею, поди, давненько не певала.

— Вспомни, погладь душу, ну! Дарья оправила на себе платок, слегка наклонила голову и повела низким, сильным голосом:

*При лужку, лужку, лужку,  
При широком поле,  
При станинном табуне  
Конь гулял на воле.*

И как будто светлее стало в тесной комнатухе. Подхваченная молодыми голосами песня вольно и слаженно полилась над столом:

*Ты гуляй, гуляй, мой конь,  
Пока твоя воля.  
Как поймаю, зануздаю  
Шёлковой уздою.*

Вдруг Степан взмахнул рукой, прося всех остановиться, и, озорно расправляя несуществующие усы, повернулся к Дарье:

*Ты лети, лети, конёк,  
Лети, не споткнися.  
Против милкина двора  
Стань, остановися...*

Над столом метнулся дружный смех, расслабляя и на краткий миг освобождая от того тяжёлого и



тревожного, из чего и состояла теперь их жизнь. Глаза Степана озорно светились. «Совсем как в молодости», — мелькнуло в голове у Дарьи. И, подыгрывая ему, она с видимым притворством удивилась:

— Что эт с отцом-то с нашим? Никогда раньше не певал, а тут, на старости, на тебе — запел! Да ладно как получилось!

— Ещё ладнее споём, когда фашиста совсем одолеем! — Степан поднялся из-за стола. — Перекурить бы.

— И вправду, что с отцом-то? — удивилась Нюра. — Сроду не видала его таким.

— Радуется он, девоньки, — сразу всем дочерям, оставшимся за столом, ответила Дарья. — Через боль за покалеченных братьовъев ваших, а радуется, что хочь такие вернулись...

И разом потеплевшим голосом завспоминала:

— Молодым-то знатный был шутник. На вечёрки, бывало, придём и поджидаем все Стёпушку с его прибаутками, — и, заметив, как переглянулись меж собою дочери на ласковое имя отца, быстро сдвинула на переносье брови. — Что уж, нам и поозоровать нельзя, глядя на вас? А я радая была его таким-то вот увидеть. Примечаю в последнее время, что сдавать стал. Плохо спит, ест, как воробышек по зёрнышку клюёт...

Во дворе шёл совсем иной разговор. Отозвав в сторонку Ивана, Алексей негромко спросил:

— А что, захаживает сюда лесникова дочка? Замуж-то не выскочила?

Иван хмыкнул:

— Кто её возьмёт, такую корову?

— Чего эт ты так?

— А чего?! Толще ещё стала, — корова и есть!

— А я вот возьму да женюсь на этой корове-то!

— Тю! — Ивану не терпелось узнать своё. — Ты лучше расскажи, в том бою, когда врукопашную, хоть одного фрица убил?

Алексей пристально глянул на младшенького, помолчал, подбирая слова:

— Лучше тебе об том не знать. Соплив ещё. Радуйся, что тебе того пережить не придётся.

— Чего соплив-то? — сердито засопел Иван. — Мне уж семнадцать стукнуло! Может, я тоже хочу, как вы!

— Да ну! Семнадцать? А я думал, ты ещё... Вона и росточком не вышел.

Иван обидчиво отвернулся, но по упрямо сжатым губам было видно, что парень что-то задумал.

Он и вправду задумал. Втайне от всех побывал в военкомате, приписав себе недостающий годок, и добровольцем ушёл в

армию. Служить попал на Дальний Восток в резервную армию. Но в 45-м никакого резерва там уже не было. При освобождении Порт-Артура Ивана ранило, к счастью, легко. За эти бои получил он медаль «За отвагу», а домой вернулся лишь через семь лет бравым сержантом, став на деле равным старшим братьям. Да только не все из них встречали младшенького: к тому времени Павел с Александром уже перебрались за кладбищенскую ограду.

## Глава 15

Дарья слышала, как сноха Нюра сердито жаловалась соседке, мол, совсем она перестала разговаривать — два-три слова за день. А об чём говорить? Всё уж переговорено на сто разов, всё известно, и ответы тоже. Ослепнув, она стала слышать то, чего раньше не замечала: осторожное шуршание мышей в подполье, недовольный клёкот петуха во дворе, мягкое царапанье о стекло веток сирени в палисаднике и как тихо крадётся кто-то из внуков к заветному ящичку со спрятанными в нём конфетами... Да мало ли чего.

И как шепчется про неё Нюра, тоже хорошо слышала. «Надоела я ей, не мать ведь родная, а свекровь. А ходить за мной ей выпало больше всех. Да

и то сказать, крутиться спозаранку начинает, с коров. Подоит, выгонит в табун, определит молоко, потом бегом в огород — грядки до солнца sprыснуть, потом к плите — завтрак готовить, а потом уж на работу летит. Там за день ухайдакается, да опять к плите, да ещё всякой другой работы полно: постирать бельишко с трёх сорванцов, прибрать ни то в избе. Вот так и крутится по целым дням». Дарья глубоко вздохнула: бабья доля, и никуда от неё не деться. А ведь баба — тоже человек. Ещё какой! Наипервейший в семье! Что было б без неё-то? Все заботушки на ней. Вот и получается, что не может она жить, как хочет, по душе чтоб. Не дают ей. «И я, старая карга, туда же. Выговариваю, недовольствую, то и выкорю за что». Она заворочалась на кровати, ухватилась за спинку, села. Услышав скрип, откликнулась из сеней Нюра:

— Проснулась?

— Да с чего ты взяла, что я спала? Так, полежала. Кто там у тебя? Валентина?

— Здравствуйте, Дарья Петровна! Как здоровье-то? — откликнулась соседка.

— Како здоровье? Где ты его взяла? Убратся бы побыстрей, шток никого не мучить.

Валентина вошла, присела недалеко:

— Мне свёкор рассказывал,

что ты сильная по молодости была, хватистая, коренной в упряжке-то вашей со Степаном Петровичем.

— Что ит он так-то про Степана? Шустрей его — да, но по разумности в делах он завсегда впереди был. Ко всему с головой подходил. А я его слушалась.

— А миловался он тоже по-разумному? — захохотала соседка. — Или тут разум отступал?

— Вот тут он шустрее был, — одними губами улыбнулась Дарья, — вон сколь настрогали с им деток, вы тепери так не сможете.

— Это точно, нынешние мужики до дивана да до ста граммов больше охочие.

— Вот-вот. А наши, бывало, примчат из летних лагерей, молодец к молодцу, и быстрее с милушкой на сеновал. А потом уж и за дела принимались.

И, слушая залиvistый смех, рассердилась будто:

— Ну, будет, бесстыжие! До греха довели старуху и гогочете, что гусыни.

Она почувствовала, что устала, а ведь и поговорила совсем ничего. Опять прилегла на кровать, попросив Нюру укутать ноги.

Когда же Стёпушка хворать-то начал? Перед войной, в войну ли — не помнится уж точно-то. Долго не признавался, молчал, что занемог. Сама уж начала догадываться по кровавым

пятнам на белье. Болезнью-то этой многие казаки страдали. От седла она, проклятущая, появлялась, от длительного сидения на коне. Помнится, чаще стал прилегать днём и на рыбалку ходил реже, хоть смолоду любил это дело. Последние годы летом подряжался сторожить колхозный огород и всё больше лежал в шалашике. Да и охранять не от кого больно-то было. Заезжие здесь не бывали, а у своих — у самих огороды. Помнится, принесёшь ему еду и просишь:

— Отец, спусти хоть ишо пирожок. Ну что это — один всего и съел?!

А он:

— Хватит, мать, наелся.

— Уж так и наелся? С гулькин нос и поклевал.

Ухмыльнётся в ответ да вместо пирожка «козью ножку» в рот и сунет:

— Не хочу боле, не воль.

А как Ивана дождался, так и совсем занемог. Вроде как ожидание это силы ему придавало...

Степан Петрович отходил по зиме, когда на улице трещали крещенские морозы, пресекая любое движение жизни. Остановливалась жизнь и в нём. Он уже не говорил, редко кого узнавал, оставаясь на постели лишь в своём измождённом болезнью теле. Тихо плакали дочери, но глаза матери были сухи. Вопреки

всему, она, казалось, ещё на что-то надеялась и, низко склоняясь к изголовью, спрашивала его самого:

— Отец, оставляешь меня, чё ли?

Степан узнал. Из последних сил приподнял руку, слабо отмахнул — всё, мол — и попал Дарья по лицу.

— Ну вот, наконец-то ты меня и ударил.

Она отшатнулась, отошла, ни на кого не глядя, с усилием выдавила из себя: «Что-то в голове помутилось» — и, тыкаясь о приступок, неожиданно для всех неловко полезла на печь, задёрнула занавеску, и почти сразу в напряжённой тишине послышалось её громкое ровное дыхание.

— Пусть поспит, — отвечая на смущение детей, успокоила всех тётка Анна, младшая отца сестра, — вторые сутки ведь без сна.

Дарья проспала его уход, не видела, как суетились бабки-соседки, обмывая тело, как причитали над Степаном дети и родня, — она спала. Перед самым выносом принесли со двора ведро снега и, с трудом посадив, отёрли ей щёки. Слегка приведя в чувство, под руки подвели к гробу, чтоб простилась. Она молча, безучастно смотрела на Степана, ноги не держали, и опять провалилась в сон. Пришедшая проводить Степана дальняя родственница бабка Перфильиха строго наказывала её не тревожить:

— Бывает так-то. Редко, но бывает. Организм, штобы не сорваться совсем в яму, так вот себя берегает. Не будите, сама отойдёт.

Проснувшись, Дарья диковато повела по комнате глазами:

— Где отец? На лежанке нет.

Нюра боязливо спряталась за спину Ивана: в уме ли свекровь после такого-то? Иван, терзаемый теми же сомнениями, пристально вглядывался в мать:

— Похоронили мы тятеньку, неужто ничего не помнишь?

— Как? Когда?

— Дак тому уж два дня, как снесли на кладбище. Ты же прощалась с ним у гроба, совсем ничего не помнишь?

Она помнила лишь то, как прикоснулся он к её лицу холодными негнущимися пальцами... На деревянных ногах, с трудом Дарья шагнула к божнице и, не говоря ни слова, долго смотрела на святые лики. Так и молчала до девятого дня. Накануне вечером приказала принести квашонку и муку:

— Тесто сама поставлю. Не мешайте. И отстряпаю сама, что отец любил.

То же повторилось и на сороковой день. А с первой мартовской каплей у Ивана с Нюрой появился на свет первенец — Пашка.

— На смену деду пришёл, — сын широко улыбался, — может, Степаном и будет, а, мать?

Дарья откатнула головой:

— Рано ишо его прах тревожить. Пусть лежит спокойно. А вот Павлом можно. Он у меня первым жить остался, и у тебя первенец, вот пушай Павлом и будет. А пока Ньюра из больницы не выписалась, я что надо подготавлию.

Она открыла сундук, перебрала свои и снохины ношенные юбки и платья, отложила что похуже:

— Вот это ладно будет. Не жакло уж марасть.

Нарезав из подолов большие лоскуты на пелёнки, взялась за иголку и, к своему изумлению, долго не могла вдеть в ушко нитку, а потом за работой несколько раз больно уколола палец.

— Что ж такое-то! Что с глазоньками стало вдруг? Я ж смолоду всему селу воротники к рубашкам и платьям пристрачивала — и ничего, как на машинке прошитое казалось. А что сейчас стряслося? — удивлённо высказывала пришедшей за новостями соседке.

Вскоре начала Дарья замечать, как будто туман на глаза навёртывается. Потом отпустит, разъяснится, и вроде на место всё встанет. Да только чаще и чаще так стало с ней случаться. И будто потерялась она со смертью Степана. Жгучая, ноющая тоска по нему лишь нарастала, отодвигая в сторону дела и заботы. Все

валилось из рук, всё делалось теперь через силу. Она перестала вникать в хозяйские дела, легко отдала главенство в доме молодой снохе и сыну и всё больше уходила в себя, заслоняясь ото всех долгим молчанием.

— Чего б ишо-то: детки все рядом, внуки вон народились. У одной Танюшки их восьмеро, да и от Ивана пошли, а радости без Стёпушки не стало, — жаловалась она подружке Катерине, — жизнь моя тепери, что суп без соли иль день без солнышка. Веришь, нет — кисет его при себе ношу. Уйду в огород или в сарай и нюхаю, нюхаю, будто Степана сквозь тот запах чую. А то вдруг посреди ночи голос его отчётливо так слышу, будто зовёт меня. Встрепенусь, сяду на кровати — нет никого. А ведь отчётливо слышала.

Радунца в том году пришла на начало мая. Земля уже окончательно прогрелась, омылась весёлыми дождичками и накрыла деревья искрящейся зелёной поволокой, готовой вот-вот взорваться буйным цветением. Было тепло, и народ дружно валил на кладбище к родным могилкам.

У кладбищенской ограды стояло несколько нездешних, по виду похожих на монашек женщин. Подойдя к ограде, Дарья осенила себя крестом, намереваясь

пройти в калитку. Вдруг от них отделилась высокая фигура и окликнула её:

— Дарья! А я поджидала тебя. Довелось с тобою ещё увидеться. Опять не признаёшь меня?

Вглядевшись, Дарья и вправду с большим трудом узнала в этой седовласой истомлённой женщине ту моложавую, полную сил ясноглазую странницу, что встретила её в лесу перед самой войной.

— Вижу, что признала.

— Больше по голосу и признала. Изменилась ты шибко.

— Война всех нас изменила. Тебя-то она тоже стороной не обошла, — она обернулась на кучку подходивших людей. — Праздник нынче, смотри, земля-то как радуется, веселится, а на баб взгляни — почитай что все в чёрном. Превозмочь нашу боль и утраты — время требуется...

Дарья молчала, соображая, что на ней из праздничного один платок, переменённый на выходе их дома на цветной.

— К сынам идёшь?

— К ним. Да и не только к ним...

— Знаю, Дарья. Как и то знаю, что обиду он на тебя держит.

— Степан?! За что ж это? Знаешь — сказывай!

— За то, что не простила, не проводила его, не была с ним в последние его минуты. За то, что

другие закрывали ему глаза.

Дарья смешалась:

— Не своей волей не простила. Нашло на меня что-то, спала, говорят, несколько дён подряд.

— И то знаю, — странница пристально взглянула на Дарью тем особым своим взглядом, и у неё опять словно током прошло тело, — знаю и не сужу. Это страх потерять его так в тебе метался. Тогда, давно, падучая с тобой приключилась, и мы с Божьей помощью одолели её. Теперь вот сон на тебя Хранительница сама наслала, чтоб от неминуемого удара отвести. А Степан твой скоро тебя простит. Не сможет он долго сердиться, но и не отпустит никогда. В твой час сам за тобой придёт.

Дарья пыталась что-то сказать, но странница перебила её:

— Последний раз с тобою видимся. Поживёшь ещё без Степана, потопчешь земельку, только... видеть её не будешь.

— Как это?

Странница усмехнулась:

— Ты ж сама говоришь, что без него тебе свет не мил. А теперь иди, ждут тебя на могилках.

А в глазах и впрямь всё чаще стали появляться резь и сухота. Дарья промывала их травяными отварами, но легче становилось, когда она, прикрыв их, подолгу лежала без движения. В такие минуты не раз думалось:

«Неужто и вправду Стёпушка не простил, что глаза ему не закрыла, и тепери отнимает свет у меня?» И тут же гнала эти мысли прочь: «Не может он, отродясь зла никому не дельывал. Помогал людям много, особенно в войну и после неё. Вся Кабанка к нему за помощью бегала, а чаще других вдовы: кому на граблях зубья нарастить, кому таз залатать или литовку наострить и пересадить, хомут починить. А с рыбалки мало когда всю рыбу до дома доносил, прямо по дороге отсыпал людям свеженькую. Да мало ли чего. По целым дням сидел в своём закутке, работал и ни с кого ломаного гроша ни разу не взял».

А глаза смотрели всё хуже. Вот уж и ложку мимо рта стала проносить, веселя внуков. Она не обижалась — что с них взять? У них вся жизнь пока что сплошное удовольствие и веселье. Да и их самих теперь больше различала по голосам.

Подобно угасающей, теряющей силу свече, свет мерк и мерк и, наконец, истаял совсем.

## Глава 16

Отходили последние погожие деньки. По вечерам небо расцвечивалось яркими всполохами зарниц, с полей и лугов ещё не остудный, но уже посвежевший ветерок приносил сладко-

вато-терпкие запахи перезрелых трав и свежей соломы. Из дальних боров несли спелую, почти чёрную вишню и красную душистую костянику, а из березняков — возами грузди. Их горьковатую, с лёгким привкусом лесной прели пахучесть Дарья особенно любила, как любила и эту пору. Летние работы, с их извечной поспешной суетностью, подходили к завершению, и не надо было никуда торопиться и успевать. Она не раз замечала, что становилась в эту пору как будто мягче, спокойнее и подолгу, с охотой, пропадала в лесу.

Так было. А теперь она равнодушно ловила ухом весёлую трескотню внуков, выхвалявшихся перед отцом, кто из них больше нашёл маленьких, с пятчочек, груздочков, или набрал больше всех костяники, или... Она совсем отрешилась от суетных дел, и всё, что происходило вокруг неё, казалось ей никчёмным и пустым. Высохшее тело почти не слушалось, став на удивление тяжёлым и неповоротливым, и ныло в ночи, кажется, каждой малой косточкой. Она сердилась на Ньюру, когда та подсовывала ей горькие таблетки, уверяя, что голову не будет обносить, вяло отмахивалась:

— Отстаньте ради Христа. Дайте спокойно помереть.

Привезли сено и принялись

смётывать стог на задах огорода. Услышав громкую, весёлую колготню, она вдруг захотела повдыхать молодого душистого сенца. Она попросила пробежавшего мимо Пашку вывести её на крыльцо, оперлась на его не окрепшее ещё плечо и не удержалась, неловко повалилась поперёк кровати, перепугав внука. Потом разбитым голосом оправдывалась, мол, голову сильно окружило так, что ноги враз ослабели и подкосились, — хорошо, что от кровати не успела отойти.

С этого дня она редко поднималась с постели, с горем пополам выхлёбывала несколько ложек жидкой каши и молча махала рукой: уйдите, мол.

Дочери приезжали нечасто, она не обижалась, понимала, что сейчас не до неё. Только иногда спрашивала:

— Что на улице, тепло, погода?

Услышав утвердительный ответ, заключала:

— Ну-ну, бабье лето — оно припасиха. Что сейчас припасёшь, то зимушкой на зубок положишь. Скоро уж пора придёт картошку выкапывать.

И надолго замолкала: сил говорить дольше не было. А они, её силушки, словно струящийся меж пальцев песок (так играла в детстве на речке), быстро и без следа исчезали, таяли, напоминая о том, что её время прошло

и... ушло. Да и чего жалеть — пожила, слава Богу. Детки все определены, все при семьях, живут как умеют. Внуков ей нарожали; продолжение их со Стёпушкой хорошее, густое. Вот только у Петюшки деток нет. Да что война и пережитое так на него подействовали. Тут уж ничего не исправишь. А Павел сумел-таки продолжить себя, сжился с вдовицей там, у себя на отделении, да прижил с ней девочку.

Управившись с делами, приехал навестить Алексей. И опять она слышала, как шептались они втроём с Иваном и Нюрой, что совсем трудно с ней стало: не ест, не пьёт, лежит и лежит, отвернувшись. И не могут неразумные взять в толк, что душа на покой запросилась, что только и осталось ей, что с Богом говорить. У них, конечно, своя правда — хлопотно с ней с такой, да и до простой истины им ещё далеко по молодости-то лет. А она, истина-то, на всех одна: последний час приходит к каждому, и у каждого он свой. От того никуда не деться. И что хорошего было б, если б жалилась на немощ свою, отравляла б им жизнь. Уж лучше так, молчком, терпеть да ждать, когда приблизится её конечная черта, и поставит точку, и заберёт навосе.

Алексей зашёл, присел рядом:

— Жалуются на тебя, мать,



говорят, совсем сомлела. Чего это ты? Так непохоже на тебя.

— Ну их. Наговорят несусветное, не верь.

— Так тогда давай собирайся в гости ко мне. На улице тепло, в телегу сена свежего настелем и покатым. Как барыня поедешь!

— Что ты, Алексей? Не выдумывай! Каки тут гости?

— Да ты постой, мать, ты ж главного не знаешь: дочь у меня родилась! Красавица! Все говорят, что с тобою сильно схожа. Поедешь — поглядишь!

И словно лучик в сердце угодил. Засветилась вся и в разрез здравому смыслу преодолела себя, соглашаясь. Уж так захотелось на внученьку взглянуть...

Засуетилась, собирая, Нюра — пусть отдохнет от неё ни то. И молодого душистого сенца Иван не пожалел, навалил на телегу презлиха — словно в благодати Божьей утонула: пахнет-то как! Дышать — не надышишься! Так и не надышалась за всю жизнь. Дак разве можно таким пресытиться?

Выехали скоро, чтоб успеть добраться до ночи. Дарья лежала, укрытая стёганым одеялом, голова кружилась, сердце трепыхало. Натрудилась, пока до телеги шла. И — немота. Немота по всему телу. Колода. Колода и есть. Куда собралась, старая дура? Она попробовала было задремать, но налетевшая откуда-то тяжёлая

духота сдавила грудь железным обручем. И тут же ветерок в лицо. Откуда ж тогда духота?

Дышать становилось всё труднее. И вдруг как будто кто-то позвал: «Иди, иди». Блазнится или взаправду кто-то звал? И опять: «Иди». Она слабо спросила у Алексея, слышит, нет ли, будто кто-то зовёт. Тот удивлённо обернулся на мать:

— Нет никого, дорога одна, мы да лошадь, — и засмеялся собственной шутке: — Разве что лошадь с тобой заговорила?

А в ушах опять отчётливое: «Иди, иди!» Дарья с усилием приподняла голову, твёрдо выговорила:

— Заворачивай! Плохо мне, — откинувшись на сено, одной себе, одними лишь губами прошептала: — К Стёпушке мне надо. Он зовёт. Боле некому.

И было в материнском голосе что-то такое, против чего нельзя сперечить. Алексей, быстро развернув лошадь, с силой стеганул её по хребтине...

Послали за Дуней и Петром. Дарья лежала под лёгким одеялом (ватное приказала с себя убрать). Её исхудавшее тонкое лицо всё ещё имело лёгкий приятный оттенок былой красоты, и тем пугающе казался разом обострившийся очерк лица с тёмно-коричневыми провалами глазниц. Она громко и неровно

дышала, как-то по-собачьи быстрыми рывками втягивая в себя воздух, и, ненадолго замирая, срывалась на хриловатый стон.

Смеркалось. Нюра зажгла свет, вышла к притихшим за перегородкой детям, и было слышно, как она успокаивает напуганных сыновей:

— Заболела бабуля. Ничего, скоро выздоровеет. Ложитесь, не надо бояться, вон сколь взрослых сидит около неё.

— Мама, а если она умрёт? — допытывался младший Витька.  
— Её, что ли, с нами не будет?

— Ложись давай, — ушла от ответа мать и мягко добавила: — Можешь с Пашкой лечь, если хочешь.

Вдруг Дарья пошевелилась и принялась слабо цепляться за одеяло, будто что-то сдёргивала с себя.

— Неужто отходит? — слезливым шёпотом, ни у кого, спрашивала Дуня. — Вон обираться уж стала.

Скоро мать затихла. Теперь её руки, длинно и расслабленно вытянувшись вдоль тела, смиренно лежали поверх одеяла. И на них, на потерявшие былую силу и ловкость руки, смотрели теперь, словно они должны были подать какой-то знак, какой-то сигнал.

Подошёл Иван, осторожно присел на краешек кровати, низко склонился к самому уху, спросил:

— Мать, ты слышишь меня? Совсем плохо? Отзовись, не молчи.

Мать не отозвалась. И уже ничего не ждали, как вдруг её губы дрогнули, и из них вырвался едва различимый судорожный всхлип:

— Свеча. Под сердцем горит. И жжёт. Сил нет, как жжёт.

Она жаловалась, впервые за всю жизнь жаловалась своим взрослым детям, — а они и теперь могли думать о ней только как о сильной, непреклонной, которую побаивались и с которой, уже повзрослев, никогда не спорили, — как будто просила помощи. И они с трудом, но стали сознавать и, наконец, поверили в то, что она уходит.

Иван взял её сухонькую руку в свою, и по тому, как слегка ворохнулись пальцы, было件нятно, что мать ещё с ними, ещё здесь.

А на Дарью отовсюду уже лился сияющий, мягкий свет. Он быстро заполнил всё пространство вокруг неё, осветил маковку их деревянной церквушки. Церковь — откуда она здесь, ведь разобрали её ещё в войну? И отец на коне, при шашке, — откуда он и зачем? А это она сама — в форменном школьном платье и белом переднике, с хлебом-солью на расшитом полотенце, перед будущим царём Николаем Александровичем и, так же, как

тогда, робеет и не смеет поднять на него глаза, лишь видит запылённый носок его сапога. И это она — в свадебных санях, с развевающейся по ветру фатой, но одна, без Стёпушки. Она оглядывается вокруг, видит берег, заросший тальником, поляну с густой, в крупных каплях росы, изумрудной травой и тотчас узнаёт — это ж их Кабанка! А по берегу — молодой, красивый Степан, Стёпушка... Он смеётся, тянет к ней руки: «Иди, не бойся! Мы все тебя ждали. Смотри, вон детки наши — все тут». Она поднимает глаза, куда указывает Степан, и видит, как плывут по небу белые облачка, и признаёт в них своих деток. Всех, кто жил и кого в рождении или недолго после за-

брал Господь к себе. И нет больше сил останавливать себя. Она срывается и бежит навстречу Степану — резво, молодо, чуя, как холодеют от росы ноги и как превеликая безмерная радость теснит из груди горячее пламя. А вокруг в кустах поют-заливаются невидимые соловушки. Так ликующе, так сладкогласно...

Иван чувствует, как тяжелеет, наливается деревянным холодом рука матери...

А над селом, над речкой, над широкими полянами догорает недолгая рассветная зорька. Бледнея, она быстро скатывается к далёкому окоёму и, польхнув напоследок огнисто-малиновой полосой, опрокидывается за него, вытолкнув в небо ослепительно пылающий шар.